Монолог Нины

Вениамин Залманович Додин

SHOUT
SHARE
IT

- Монолог Нины
  -
  - ПРОЛОГ
  - МОНОЛОГ НИНЫ
  - К МОНОЛОГУ НИНЫ

Монолог Нины

Вениамин Додин

— …И вы, дворянин, предлагаете мне, дворянину, место в вашем зверинце?! — спросил Николай Николаевич. — Вы хоть понимаете, Георгий Васильевич, что это непорядочно?…»

Понимал Чичерин — не мог не понимать.

Не мог не понимать Николай Николаевич и того, что добрые отношения с Георгием Васильевичем, — «сдобренные» заключительным монологом ночного гостя его, узнай о нём непосторонние «посторонние», — не спасут ни графа, ни близких его. У Чичерина, — человека несчастного, — близких, кроме всё той же кошки, просто не было. Заметим ещё: по представлению Адлерберга–гусара человек, оказавшийся способным предложить ему, графу, службу у большевиков, не может не предать. И там, в доме по Кузнецкому мосту, вполне мог приказать арестовать его…

Мог. Но не приказал. Почему?

Ответа на этот вопрос у Николая Николаевича не было. Да он ответа и не искал. Собрался быстро. В последний раз отстоял службу у Ильи обыденного на Пречистенке с роднёю голицынской — Николаем Владимировичем, Кириллом с Сережею, и братом Владимиром Васильевичем. Не предполагая, увидит ли больше их. Попросил кого–то из них извиниться перед членами Совета Петровской Академии — за что, сам не знал.. А глубокой ночью, — издёрганный до беспамятства и обезноживший от усталости, — добрёл до вокзала. Нашел в кромешной темени лабиринтов из сцепов тысяч телячьих вагонов «Москвы—Брянской–товарной» указанный ему эшелон. Отыскал «свою» теплушку. Взобрался, — еле отодвинув створ, — в ледяное её нутро, навалом забитое боронами и плугами. Нашарил в кромешной тьме доску настила. И, уже не соображая ничего, рухнул на неё и уснул под оглушающие лязги и скрипы разбитого вагона тотчас и двинувшегося поезда.

А сам поезд, вырвавшись из теснины домов и бесконечных «стен» других поездов на забитой ими путанице запасных путей, в грохоте стрелок и в тусклом отблеске редких фонарей, проскочил «Окружную». И растворился в поглотившей его пучине ночи…

ПРОЛОГ

… Голос Колокола Судьбы прогудел неслышно. Прошелестел горячими ветрами от родного Каитамо в бесконечно далёкой Японии. И замер, убитый стужей над вечерней тайгой. Услышал ли его Соошио Кобаяси–сан, — врач, воин, пленник, а теперь вот и беглец, — возвращаясь своею лыжней на моё зимовье у Борёмы? Нет, наверно. И в кровавом зареве заката, налетел, вдруг, на медвежий след, путь его перечеркнувший. След был свеж: глубокие отпечатки огромных лап источали отвратительный запах зверя. Об этом он успел рассказать. На остальное не хватило у него времени.

Всё, без утайки, раскрыли за него следы на снегу, оставленные им и медведем.

…В обоих, 12 калибра, стволах «Ижевки» — патроны с мелкой дробью на птицу. Потому Соошио Бесшумно переломил ружьё. Выдернул, — уронив, — ненужные заряды. Аккуратно вложил новые, со свинцовыми жаканами…

Успокоился. Сердце вернулось на место: теперь патроны в стволах — с надёжными капсюлями «Жевело». Осечки не будет. А жаканы — каждый — снесут череп любому шатуну. Что это шатун он успел понять. Ему бы — по хорошему — попятиться тихо, лыжнёю. Отойти. Замереть. И переждать… Не настораживать, не дразнить зверя… Но то была месяцами втемяшиваемая мною поведенческая психология промысловика. Человека осторожного. Ни на миг не забывающего, что никакой он в такой ситуации не охотник, а добытчик. Тем более, недавний зэк… Человек вообще–то затурканный…

Только был японец уже не зэком, нет. И вовсе уж не раздавленным пленением, лагерями, постоянным ожиданием окрика, удара, наказания арестантом. Но беглецом. Победителем судьбы. Вольным Охотником. Человеком с оружием!

Да и колокол уже прозвонил…

Соошио, мгновенно забыв мои наставления, сошел с лыжни и двинулся по следу. О! Он и прежде, до войны, а потом и на войне, умел подойти к цели бесшумно. И, если была крайняя необходимость, спокойно и незаметно выцелить. Теперь же — после немыслимой Ангарской Одиссеи бегства — был у него долгий год бесценного опыта удачливого таёжного охотника. И природная — из детства ещё — хватка росомахи.

На зверя налетел он внезапно: скосив глаз, настороженным нутром азиата учуял сквозь щель меж отягощённых снегом и кое где над сугробом парящих ветвей, бурый — на белом — ком. И

увидел тут же… Утонув в сугробе, зверь лежал, отдыхая, спиною к нему. Но дыбом стоящий загривок его с чудовищно огромной в закатном свете чёрной башкою повёрнуты были в сторону человека. И глаза их не встретиться не могли. Видели они на этот раз одно и то же — добычу! Мы–то полагаем: зверь есть зверь. Ан нет! Мишка — он ещё и психолог. Знает, когда человек не опасен ему. И сам не нападёт. Уйдёт. Первым. Проглотив звериный гонор. И самолюбие.

Сытый зверь — он второй месяц спал бы уже в берлоге.

А этот всё ещё шастает, шатается по тайге в поисках пищи, до беспамятства и потери спасительных инстинктов голодный и потому по особенному обозлённый. Одно слово — «шатун». Ему бы спа–ать, спа–ать! А жира не набрал, чтобы проспать зиму! Не набрал — не получилось. А добыть жир нужно по любому…

Но на человека — вооруженного, тем более, и сторожкого — даже шатун — сам — первым не нападёт. И первым сейчас нападал человек!…

…Между ними пространства было — метров семь–восемь. Не шибкий хиус тянул от медведя встреч Соошио, обдавая его вонью. И зверь, чуя, что человек рядом, но не раздражаемый запахом его, сносимым ветром, и шуршанием лыж — тоже за ветром почти не слышных — выжидал. Медведь чует и слышит великолепно, но видит плохо. Потому время замереть у японца было. Время отойти. Под прикрытием жаканов тем более. Время одуматься. И попытаться уйти, если не было абсолютной удачливой уверенности в себе или в оружии. Но росомаха взяла в нём верх, Он осторожно повёл ружьём. Выцелил голову зверя. И, выдохнув, как полагалось опытному стрелку, медленно потянул спусковую скобу левого ствола — «чёк-а»…

Где–то в глубине бескурковки клацнул по патрону ударник… Клацнул чуть слышно. А Соошио показалось, наверно, будто громом хлестнуло по спавшей тайге!… Но лишь показалось. Как и мне не раз. Хвалёный капсюль не сработал. И громыхнуло только в мозгу. Так и со мною бывало. Потому решаюсь восстановить и эту трагедию во всегда повторяющихся деталях

Но мгновенно сработал настороженный слух зверя: будто пружинами выброшенный, вылетел он из сугроба! Выпрыгнул по–заячьи на задние лапы. Замер. Маленькие, горящими углями, глазки его снова встретились с помертвевшими глазами человека…

…Прыжком летящим, глазом не уловимым, — извернувшись и осев на миг — достиг, было, огромный зверь отпрянувшего японца… Но выстрел прогремел. От удара в упор жаканом медведь опрокинулся навзничь, будто палицею великанской

шарахнуло его. Рявкнул визгливо. Привстал, охнув по человечьи… По человечьи перевалился… Сел на задницу. Снова рявкнул. Обдал снова японца утробным смрадом. Огляделся «удивлённо». Вывернулся. Закинул–развернул голову к разорванному плечу. Зацепил зубами окровавленную щетину на холке. Стал рвать её, свирепея.

Не сообразив — или не успев — ни отскочить, ни отбежать чуть, — растерявшись, — дрожащими руками японец вновь сломил ружьё. Непослушными пальцами вырвал из казённика осечный и стреляный патроны…

Выдернуть из опоясного патронташа новые не успел. Зверь внезапным — с места — крокодильим боковым рывком накрыл Соошио. Скогтил его. Смял. Сломал. И обдав снова вонючим рёвом разинутой пасти вгрызся в лицо желтыми клыками–кинжалами…

…На вторые сутки лыжня привела к месту трагедии встревоженного исчезновением Соошио товарища его — Хироси Ямамото–сан. По следам разглядел, что зверь, — валясь, через шаг, на бок и разбрызгивая сгустки собственной крови и ошмётки выдранной шерсти, — уходил, было, из пади на север. Но возвращался. И подыхал, обескровев, чуть ни рядом со своей жертвой. И теперь, — потрясённый, и тоже сломленный случившемся, Хироси, не соображая, что делать, сидел в снегу перед обезображенным другом…

Только сутками позже, на связанной из сучьев волокуше, втащил он в зимовье ещё живого Соошио. От запаха застоявшейся крови, от звериной вони, впитавшейся в его тело и обрывки одежды, кружилась голова и тошнило. Уже в избе стало видно, что с ним сотворил медведь. Глубокие рваные раны зияли на груди, на животе… Лица было не узнать… Да и не разглядеть было «лица». Не было его! Вытек вырванный клыком глаз. Сорвана, разорвана, разжевана в кровавое месиво, забита колтуном волос прилипшая к изуродованному… месту, где прежде было Лицо Человеческое, «кожа» — скальп. Сломан в двух местах позвоночник. Вырвана из сустава и в лоскутья превращена рука… Нет! Всё это не было уже руками!,,, Соошио ведь пытался защищаться ими, не имея уже сил вырвать из ножен тесак…

Кобаяси–сан умирал.

…То, что увидал я на четвёртые сутки несчастья, ворвавшись в стойбище друзей, вполне могло сломать и меня. Я ведь ничем не отличался от Ямамото–сан. Но в отличие от него должен был действовать — был я чуть опытнее его. Чуть больше видел и пережил. И ещё был я сыном мамы своей. И кем–то вроде старшего в нашей компании.

… Опамятовавшись, вспомнив похожие медвежьи закидоны на «Земле Бунге» в не такой уж и далёкой отсюда Арктике, и моё в таких случаях невольное четырёхлетнее «фельдшерствование», я очнулся. Бога поблагодарил за надетый на Соошио по верх полушубка и зверем в лоскутья разодранный плащ из «чёртовой кожи». Вместе с Хироси разогрели котёл. Перепеленали Соошио мешками, вываренными в сале злосчастного шатуна. Сбегал с собаками в тайгу, где вскоре нагнали они на меня кабарожку. Свежей кровью её кое–как, по карцерному, «отпоили» Соошио. И, пробежав трое с небольшим суток, лыжными нартами «примчали» его в ночь на 30 декабря 1952 года на прииск Кировский, в избу приятеля моего Аркадия Тычкина — верховского чалдона из ссыльных Забайкальских казаков.

Соошио и Хироси — второй год как беглецы из «японских пленных» лагерей иркутского Усть—Илима. Ищут их здесь, нет ли — за полторы тысячи вёрст от места побега — нам не ведомо. Однако, должны бы искать. Потому о них никто, кроме нас с Аркашей и друга его Отто Кринке, не знает и знать не должен. Даже необходимые Соошио — сейчас, сию минуту — врачи местной больницы. Оба хирурги «От Бога!». Оба интеллигентные люди, бакинцы из ссыльных. Мусульмане. Но после полутора десятка лет каторжных лагерей, дорвавшись в больничке своей до халявного спирта, опустились. И беспробудно пьют! Да ещё и «марафет лижут»! И под газом вполне могут сболтнуть и выдать, сами того не хотя.

Тычкин — он Спецсвязь! Начальство! Власть! Но «влассь ету ё….ю», — за котору «раненый восьмеро раз, и оконтуженный трижда, отвоевал четыре года танковым десантом. Отхватил на грудь геройскую Звезду и Ленина. Ну и железа всяческого несчётно», — ненавидел Аркадий люто! Не забывал — не желал забывать, казак, как она, — власть эта, — на глазах мальца «быдта собак, пострелила у куреней при раскулачке» дедов и отца с дядьями четырьмями. Ободрала до нитки. Гнала пешими маму и тёток с имями, пацанами, — под арапниками и плетьми верхоконных карателей, — полтораста вёрстов от станицы Ёльнинской до Читы–города. Везла по лютому морозу в разбитых вагонах — не поя и не кормя четверо суток — до Красноярскова. А потом, обратно, по стуже, спротив сивера, два месяца гнала, пёхом же, по Енисейским, да по Ангарским снегам и торосам, — до вот етого вот самого места в тайге, игде сидим». И как, «падло, в пути убила голодом и холодом семерых братишков и двух сестричков — мал мала мене….».

Сейчас, — «спасиб Звезде, — Спецсвязь он. Достойный и в мирное время — в лучшом виде — под пули бандитов». Верхами,

или в кошеве, собирает он с приисков и вывозит самолётом металл на Новосибирский Афинажный завод. Там у него друзья–однополчане. Врачи военные, и такие, гражданские, тоже. Он «пригонит их! Успеть только!» Здесь — пока он там с ними обернётся — срочно нужны перевязочные и медикаменты. А единственная микроскопическая аптечечка в районе площадью «в две Франции» — при больничке на прииске Центральном, в 25–и километрах. Провизором там — молодая девушка Нина. Но живёт она здесь, на Кировском. Отец её Аркашин друг Отто Юлиусович. Тот самый -третий, кто знает о японцах. Он — на вечном поселении. Поднадзорный. У него большая и тоже «подвешенная» семья. И, прежде, чем затеваться с аптекою, — с Ниною, тем более, — нужно говорить с ним. Разрешения у него спросить: можно ли посвятить его дочь в чреватую грозными последствиями для неё тайну умирающего японца?

Ещё, он бывший владелец плаща из «чёртовой кожи», который был на Соошио в роковой для него вечер. Плащ, продливший жизнь японца. И муки его.

И вот она — ещё одна Героиня повести — дочь Мелитты Мартыновны и Отто Юлиусовича, провизор Центральнинской больничной аптеки «на две Франции». Девочка, родившаяся в этапной телячьей «краснухе» десятилетием позднее последнего бегства из Москвы Николая Николаевича Адлерберга. Внучатая племянница его. Двадцатилетняя — в расцвете молодости и красоты — русская графиня Нина Оттовна Адлерберг—Кринке.

После смерти мамы её в марте 1951 года — Нина хозяйка в доме. Мама умерла без неё от стремительно убившего её рака, не понимая до последней минуты, почему рядом нет любимой и любящей дочери. Как раз, в эти трагические дни её предсмертных мук, у Нины, в далёком Красноярске, куда права она не имела уехать — но мир не без добрых и совестливых людей — Государственный экзамен. И Отто Юлиусович, — любящий до сердечных болей отец, но суровый, без каких–либо сантиментов, прагматик, желающий дочери счастья, — ни одной телеграммы о болезни, а потом и о смерти, матери, ей не отправил! Приказал себе ни в коем случае не сорвать дочь с тропы к образованию, с таким трудом, с таким риском, — но ни Провидением ли Господним, — проторенной другом его… всё тем же Тычкиным.

Рискуя своим положением, заработанными пролитой на войне кровью капитанскими погонами, Золотой Звездою, собственной свободой и — самым дорогим — благополучием детей и жены, он «восстановил» таки на своём участке службы отнятые властью у Нины свободу и равноправие получения образования! Сам лично привёз в Красноярский

Фармацевтический техникум опечатанный пакет. Вместе с начальницей 1–го отдела вскрыл его. И та зарегистрировала и «навечно» спрятала в сейф невиданный доселе в мирном её гражданском учебном заведении «обгрифленный» знаками особой секретности документ. Сообщалось в нём, что «товарищ… имя рек…, работница П/я 437, направляется Учреждением Большой Химии в Фармацевтический техникум для сдачи вступительного экзамена и поступления на учёбу». И что «паспорт её хранится в отделе кадров…»

Паспорта у Нины не было, и быть не могло! Дочь своего отца, — кулака, крестьянка, следовательно, — она с рождения и до смерти в стране «где так вольно дышит человек» по Дунаевскому и Лебедеву—Кумачу, приговорена была быть «крепостной девкой». И была ею «24 года ещё и в ипостаси…Киплинговского Маугли.

Тычкинский же «Документ», с десяток лет пролежав под стеклом директоров Фармацевтической Школы, до сегодня(?) висит в рамочке за спиною ещё одного нашего героя. Теперь — полковника (или уже генерала?) Григория Ивановича Зенина. Начальника Линейных отделов милиции Красноярского края. А тогда местного силового бугра, фронтового друга и напарника Аркадия Тычкина по «танковой езде». С 1951 — и моего друга…

А Нина? Ночами она — у постели Соошио. Всё тепло исстрадавшейся по маме души её, всю энергию с о с т р а д а н и я, не растраченную несостоявшимся уходом за умершей без неё мамы, отдаёт она войне — яростной и непримиримой — за каждый вздох ещё чужого ей, ещё не знакомого ей умирающего азиата. За чуть заметную, никому кроме неё невидимую и не чувствуемую никем, дрожь в теле его. За жизнь, значит, в истерзанных зверем и выбеливаемых подступающей смертью коченеющих его членах…

Возвращаясь вечерами с прииска Центрального домой, она ни на минуту — до следующего утра — не отходит от постели Кобаяси–сан. И все бесконечные часы, что проводит рядом с ним, ни на секунду не отводит взгляда своих внимательных голубых глаз с лица–маски, вызывающей у неё невыносимый ужас и бездну активного сострадания… Меняет окровавленные бинты и салфетки. Закладывает и уносит набухшие обильно сукровицей губки… И «не устаёт!». А ведь «всего–навсего», должна она «утром», — после тяжких до отчаяния ночных процедур, сжигающих не только энергию и нервы, но и разум, — остановиться на миг. Передать вахту у постели Соошио Альме, младшей сестре–подростку. Проглотить завтрак — она понимает, что это необходимо, иначе сама сляжет! Встать на лыжи.

«Пробежать» 25 километров до аптеки своей на прииске Центральном (на картах — Южно—Енисейский) по дикой, без дорог и троп, безмолвной горной тайге. По дикому лесу, где в поисках еды шастает не один такой вот оголодавший до бешенства и потери страха шатун. Где ещё более добычливые и куда как несравнимо ловкие рыси ждут жертву в ветвях над лыжнею. Где бесстрашные росомахи–отморозки могут в любую минуту преградить путь. Где встретится может недобрый человек, любого хищного зверя страшнее…

А сорвать карабин с плеча можно и не успеть…

Уходит она из дома в пять утра. По темну прибегает в Центральный. С девяти до четырёх пополудни «составляет» по рецептам лекарства для больнички. И, встав из–за провизорского столика, снова бежит 25 километров по исчезающей в ночи лыжне к постели Соошио… Правда, и до японца — вот уже третий год по возвращении из Красноярска, расклад и темп жизни её тот же.

Если по–современному и точно — темп и расклад «Омеги» Спецназа.

Ночью из Новосибирска — таясь — прибыли врачи, посланные друзьями Аркадия. Но неделею прежде уже пришел вызванный Ниной, втайне от родителя её, «свой» ссыльный хирург Салман Аширов. Бывший профессор. «Пусть пьяница! Пусть наркоман!, — объяснила она возмущённому её «вольностью» отцу, — Но он врач! И не всё ли равно теперь Соошио — выдаст его кто–то, или не выдаст?»..

Отто Юлиусович сдался.

Работал Аширов с японцем около пяти суток. Пил, конечно. Как не пить. Кололся. Не выдержал бы иначе. Но… то был мастер! Хотя… Нине не по себе становилось, когда видела, как прикрытые перчатками и вооруженные инструментом руки его, обросшие седой шерстью, погружались — по локти — в разорванную плоть, двигались там, ш у р о в а л и, выискивали, — вслепую, казалось, — вытягивали, срезали и соединяли для шитья края плоти, не сраставшейся уже…

— Всё что здесь у Соошивой койки делается, это, парень, зрелище не

для молодой женщины!…, — сказал как–то Аширов. — Заменишь её ночью. И при мне чтоб духа её здесь не было! Ей, после дневных её марафонов, отдыхать надо. Понял?!

— Не понял! — кричал я, защищая право, которое Нина уже присвоила и, — я знал, — не отдаст никому. Тут же спросив себя: — А как же мама моя? Она на первой своей войне моложе была Нины на три года!

Он рычал что–то, — красивый дикой какой–то красотою,

огромноглазый, — продолжая, как пекарь в квашне с тестом, «месить» внутренности японца. — Тебе не жаль её, дураку? — И настоял–таки на своём: работал теперь только в дневное время, когда Нина была на работе. Но, возвращаясь вечерами, она же видела всё, что происходило с Соошио без неё.

Боль Его была и её болью. Его страдания — страданиями её…

В первое воскресение апреля, когда она была с ним, Кобаяси–сан неожиданно впервые за прошедшие месяцы, чуть приподняв веки, произнёс, вдруг, будто в бреду, несколько непонятных ни для кого слов… Все, кто были в доме, бросились в комнату Нины. Ленард, дядя её, наклонился, вслушался внимательно… Умирающий вновь что–то ещё произнёс — выдохнул будто…

— Говорит:… «сильно пахнул…»?… Или «следы…»?… «Спасибо…»…

Ленард выпрямился. — Умирает.. — И вновь наклонился к лицу Соошио.

— Он спрашивает: «… Женщина…»? У неё глаза… »…

— Да, Кобаяси–сан! Да! Здесь в с е г д а женщина. Глаза у неё «от неба». Её зовут «Нина»…

…Нина плакала безутешно, держась за отца, когда раздуваемый ветром Погребальный Костёр на Горе воздевал и воздевал к небу свои извивающиеся будто в конвульсиях языки–руки… Пламя билось, рвалось, вырывалось из невидимых нам снизу клеток кладки. Люди пятнались погребальным огнём, о с в я щ а я с ь бившимся в судорогах и срывающемся свете его…. Успокоить Нину я не мог. Не смел подойти…

Не сговариваясь — против традиции Страны Ниппон — здесь же, на лесном кладбище за Кировским прииском, — которого давным–давно уже нет — опустел лет сорок назад и тайга его заполонила, — рядом с могилой графини Мелитты, матери Нины, сложили мы из кварцевых глыб могильный холм и для Соошио Кабаяси–сан из Каитамо…

А утром Хироси и Нина собрали пепел Соошио в меченый Тычкиным кожаный герблёный мешочек из–под золота. И заложили его в маленький аптечный бикс с именем Нины. Через полгода, когда сдохнет Дракон, Ямамото–сан увезёт пепел на родину. И вручит урну–бикс с нетленными останками Сына Отцу его, досточтимому Рыцарю из рода Рыцарей императоров — Эйшио с. н.и. Ивасаки Кобаяси–сан.

* * *

…С Ниной Оттовной через пятьдесят лет будем мы гостями старого Эйшио в токийском его дворце у Китаномару—Коен. Дни и ночи летели стремительно.

И однажды старик, взглянув на портрет Соошио–сына, когда–

то мною рисованный огрызком химического карандаша на серой, из–под зарядов аммонита, «бумаге» по самодельной строганной доске, а теперь одетый в тяжелую кованную серебряную раму, и висящий — в стекле — над самурайскими его мечами, — произнесёт еле слышно: — Вот он… мальчик мой… — Присядет–сползёт, — тяжко, сломавшись, — на татами… И заплачет… Тоже неслышно почти. Закрытые глаза его сухи. Только плечи подрагивают…

И, — будто всё это не явь, а сон, видение, — вспоминаю фильмы о нём.

Полный генерал Императорской Армии, идёт устало, прихрамывая. Идёт рядом с его запылённым, в грязи тонущим гусеницами, командирским танком. На нём проломился он сквозь горы трупов несчастных китайцев. И разрубив пополам огромную их страну, по дороге к вот уже совсем близкой Индии — великой цели великого похода — ворвался 7 марта 1942 года в Рангун, столицу Бирмы…

И тут–то, на центральной площади города, у муниципального дворца, поднял его над завоеванной им землею взрыв… Тогда, в полевом госпитале у предместья бирманской столицы, очнувшись уже на операционном столе, генерал Эйшио с. н.и. Ивасаки Кобаяси не плакал. Как не плакал никогда. В младенчестве только, быть может. Но то — от обиды, как все дети. А теперь заплакал перед чужаком…

Внезапно, после долгого молчания, он спросил требовательно:

— Почему с вами не приехала ваша Нина? —

Вопрос застал врасплох. Но я ответил: — Она сама решила не ехать. Не с кем было оставлять трёх наших маленьких внуков. Родители их довольно благополучно вживаются в новую для них жизнь. Нужно заниматься языком, совершенно им не знакомым. И работа. Без языка пока, естественно. И не по их специальности. Это отнимает всё время. И Нина заменяет внукам родителей. Она у нас теперь няня. Экономка. Хозяйка. Ну и бабушка. Любимая и незаменимая. Иммиграция — дело ведь не простое… Словом, Нина и в Иерусалиме Нина. Она человек долга. На таких держится мир…

— …Почему Вы допустили, что она не приехала?… — Это он уже сердится, полагая, что раскрыл причину отсутствия её в доме.

Ещё спросил: — Почему ваши друзья оказали сыну и его товарищу услугу, грозившую им тюрьмой? Или даже смертью? В то время их действия граничили с подвигом — да это и был подвиг!

— О подвиге говорить не стоит. — Отвечал я. — Требование

собственной совести — если она у человека есть — субстанция, в понятия геройства не вписывающаяся. Обычное поведение в своё время переживших собственную свою, и близких, трагедию. Конечно, солидарность с теми, кто противостоял бесчеловечному большевизму. А Ваш сын и его товарищ ещё и воевали с ним самим фактом побега. Ведь тогда в СССР побег квалифицировался законом и наказывался как «контрреволюционный саботаж»! Как тягчайшее политическое преступление. Своим этим действием — побегом — они открыто осудили ненавистный и им, иностранцам, тоже «порядок». Но ведь и мы все его ещё больше ненавидели — «порядок» этот, сломавший наши жизни, разбросавший сперва всех по ГУЛАГу, а потом загнавший нас в ссылку. И противодействие этому режиму, — спасение и сокрытие беглецов, в нашем случае, — тоже акт сопротивления ему. А это было нашим первейшим и естественным долгом перед памятью погубленных режимом миллионов россиян. И не россиян тоже…

— А Нина?, — перебил он. — А Нина? Девочка совсем, только начавшая жизнь, тем более в неволе, — ей то зачем ввязываться было в чреватую бедами борьбу, в политику? По рассказу Ямамото–сан она, до нападения зверя на сына, ничего про него не знала. Понятия даже не имела, что он существует. Почему же девушка бросилась его спасать?… Простите, но она же, увидев его, тотчас поняла, что он уже не может быть не только женихом её! А мысль о возможном женихе — она совершенно естественна, нормальна и разумна была в романтическом её возрасте, в особом её положении затворницы, и в исключительной ситуации, в которой оба они — она и сын — оказались! Но и просто жильцом на этом свете ему не быть! И если… даже выживет он… мой сын… Искалеченный до неузнаваемости полутруп… Бог Всемогущий… Почему же бросилась она спасать его — умирающего, никому больше, кроме невесть где обретающихся родителей его, не нужного? Почему?

— Она выросла в особенной семье. И не просто в семье с могущественными и особого свойства генами. Но в маленьком коллективе, где в силу известных обстоятельств — в том числе, каннибальской беспощадности властей, нацеленной на уничтожение именно этой семьи, — все члены её, от мала до велика, помогали друг другу выжить. Именно выжить, и никак не меньше! Семью методически старались уничтожить. Но она не поддавалась! А ведь Нине — старшей дочери, старшей женщине в семье после смерти мамы её, — нужно было вытягивать на себе в очень тяжелой и безумно сложной жизни маленьких своих. Спасать их. Вот она и выросла спасителем. Спасительницею.

Этот второй визит в Японию был сложным. Расписанным по

минутам. Но старик не отпускал нас. И ломал, тем самым, все переписываемые устроителями и мной из–за его настойчивости программы. Я уже давно понял, что право это его никто из организаторов моей поездки оспорить не решается.

Я-то состояние старика понимал отлично. Так же, как и его ко мне интерес.

Воспринимал он меня как чудом оказавшуюся в руках у него дорогую ему фотографию, «держал» перед собою меня ж и в ы м воплощением своего давно потерянного сына. Это и для меня было невыносимо: я ведь тоже «носил» в себе изображение Соошио. Только куда более трагическое, если не сказать, чудовищное, чем виртуальным зрением мог видеть сына отец. Во всех наших с ним долгих беседах он, — нет–нет — не заставлял, но очень корректно просил меня ещё и ещё раз «напомнить» ему отдельные эпизоды, — даже, казалось бы, самые незначительные, — таёжной жизни сына, каждый раз записывая мои монологи на плёнку. Но так же дотошно интересовался он каждым человеком, вошедшим когда–то в соприкосновение — пусть мгновенное — с сыном его. Пусть даже был это краткий эпизод, в принципе, ничего не означавший и не несущий нужной ему информации. Он расспрашивал о судьбе этих людей. О их семьях. О характере их жизни. О работе, кормящей их. И как кормит она!. Он д о с т а т к о м их интересовался, особо — их жен и детей. Поначалу характер пытливого интереса его к окружению сына был мне не совсем понятен. Только позже дошло: ему необходимо было знать с о с т о н и е д е л породнившихся с сыном его самим фактом наказуемого режимом Сталина участия их в судьбе п р е с л е д у е м о г о! С человеком, не имевшим тогда никакой возможности хоть чем–то отблагодарить этих мужественных и бескорыстных, но — безусловно — бедных, и более того, бедствовавших и преследуемых тогда людей.

Соошио, сын, отблагодарить их не мог.

Мне остаётся сказать: за погибшего сына, и за своей смертью умершего у себя дома, в Японии, друга его Хироси Ямамото–сан, сделал это отец Соошио. Сделал широко и щедро, счастливо развернув судьбы многих моих сибирских, — товарищей или просто знакомых мне таёжников, которых смог я вспомнить и назвать. Тех даже, кто только знал, или мог знать, о беглецах. Но не удосужился, не догадался, или даже постеснялся помочь им — и такие были.

Главное — НЕ ПРЕДАЛ! Вот что особенно важно и дорого было для Эйшио с. н.и. Ивасаки Кобаяси!

С Ниной мы узнали о том, посетив в 1993 году нашу Удерею, заросший прииск, найти который сами уже не могли — помог нам

здорово постаревший Аркаша Тычкин, друг наш. Забытое лесное Кладбище на Горе. Могилы Николая Николаевича и Мелитты Мартыновны Адлербергов и Отто Юлиусовича Кринке. И встретившись с порядком поредевшим за сорок лет «клубом» наших старых знакомых.

Но многое узнали мы сразу — уже в Иерусалиме.

Перед возвращением домой снова навестил старика.

— Я хочу видеть Нину… Мне необходимо достойно завершить мою неудавшуюся судьбу…

И это у него–то, у Первого Рыцаря! — не удалась судьба!

— Для меня это увидеть Нину. Тогда я уйду…

И ушел 2 марта 1993 года.

Закончил расчёты с проклятой им жизнью. Одарил слуг. И движением меча предков вспорол живую плоть, омывшись кровью своей в Купели Его Аматерасу.

Но это — потом, потом…

А пока были тихие и долгие — до утренних зорь — вечера, которые дарил нам старый Эйшио, вдохновлённый присутствием Нины. И нескончаемые рассказы его о только ему известной Ниппон. А однажды, на веранде токийского его дома в парке Шийода, он попросил Нину рассказать о её жизни. Мне не раз приходило в голову, что этот необыкновенный человек, наделённый некими запредельными силами, как бы испытывает Нину, выбирает её куда–то… Или готовит, предназначая для чего–то… И показалось даже, что тайну его тестов я раскрыл… Но Нина, как всегда, опередила меня: — Старик, — сказала, — действительно готовит твою жену… в невесты Сожженного на Горе… И хочет всё о ней знать.

Так исповедайся ему… при мне. Я ведь тоже всё хочу знать! А из тебя клещами ничего не вырвать! Я, — мы, — однажды уже потеряли возможность, или шанс узнать всё абсолютно о моих родителях, о тёте Кате и Маннергейме, когда Карл–младший выпотрошил Бабушку — мечтавшую выпотрошиться за сотню, хотя бы, из прожитых ею лет. Да, тогда нас выкинули из Москвы. Но сейчас–то — самый раз тебя послушать.

И Нина решилась. Хотя прежде, на мои просьбы, отделывалась то занятостью, то «совершенно стандартной жизнью, которую прожили миллионы россиян, ничуть не лучше нас…». Я же прощения прошу за столь долгое, как может представляться, отступление от судьбы Адлербергов и их российской родни. Но точно знаю: не было бы трагедии в Удерейской тайге, а из–за неё через полвека — встречи с Эйшио с. н.и. Кавасаки Кобаяси–сан — не было бы и продолжения нашего повествования.

МОНОЛОГ НИНЫ

… С ума сойти! Это же так трудно — рассказывать про себя, — начала Нина.

Действительно, решиться рассказывать о событиях давности многолетней… «Вспомнить» их, когда ты была младенцем. А потом росла. И знаешь обо всём сперва по рассказам тогда таких же, как ты, … старше быть может.

Родители молчали. Не хотели травмировать нашу психику. Все ж таки, мама успела пройти пятилетний курс Смольного. И в психологии разбиралась. Конечно, они боялись озлобить нас. Кроме того, в семье, где верховенствовала мама, — да и отцовская ментальность дорогого стоила — не приняты были эмоции при упоминании о постигшем всех нас. Эмоции были дурным тоном. Эмоционируя, — говорила мама, — можно самим, — не приведи Господь!, — опуситься до кальсонеров. Потому почти всё, что я знаю о судьбе семьи до моего рождения и до времени, когда сама стала понимать происходящее со мною, и вокруг, узнавала от взрослеющих дядек, младших братьев папы.

Уже взрослой, когда не стало мамы, отец позволил мне прочесть её записи. В сущности, они были принципиальным — «вот, возьму и поведу дальше!» — продолжением «Подёной книги записей (Дневника) женщин-Адлербергов», начатого пра–пра бабкой моей Юлией Феодоровной (Анной Шарлоттой Юлианой фон Баггехофвудт—Адлерберг, в русской транскрипции — Багговут) ещё при Екатерине Великой, в начале 90–х годов 18 века.

Не за долго до своей кончины Николай Владимирович в Мюнхене Дневник этот издал. Несколько экземпляров его попали в Россию. Маме тоже.

И я могла читать его. И вообще, — как Адлербергша, — могу использовать сведения из него хотя бы вот в этом своём рассказе. Ни в коем случае, естественно, не внося в такие купюры с деталями быта элемента драматизма, тоже тона дурного и нам противопоказанного.

Сама я, вырастая, никогда никаких дневников не вела. Кажется, родители мои мне не советовали этого. И ещё не знакомая с Давидом Самойловичем Самойловым—Кауфманом, будущим нашим другом, знала, что «В двадцатом веке дневники/ не пишутся, и ни строки/ потомкам не оставят/. Наш век ни спор, ни разговор/, ни заговор, ни оговор/ записывать не станет».

Уж и не знаю, что случилось бы с оставшимися после 1981 года а России моими Адлербергами? И с теми, кто сохранился

после Первой мировой и Гражданской войн, где полегло Бог знает сколько моих родных, с началом царствования Александра Третьего отдавших предпочтение военному поприщу, как оказалось, в совершенно мирное царствование. Только дядя мамы Николай Николаевич был дипломатом. В 1916 вернулся отозванным. Но в Петрограде, сошедшем с ума на «немецкой, — скорей всего, — почве», отношения к нему никак не имевшей, ко двору пришелся. Сел за воспоминания. После переворота 1917 был неожиданно разыскан Чичериным и Троцким. И приглашаем ими аж в члены коллегии большевистского МИД. Но теперь ему не пришлись они сами…

В конце 1921 он окончательно вернулся на Волынь, где обретались мама с бабушкой Марфой, Мартыном Николаевичем и Надеждой Николаевной, мачехой его. Жили они под Старой Гутою за Кременцом в имении князя Трубецкого «Лески». Сам Алексей Владимирович, уехав за год до возвращения Николая Николаевича, за границу, оставил им дом со службами и сад. Предупредил: хозяйничайте! Но если что — бросьте сами, — или Коленька, когда вернётся, — всё это к чертям собачьим… А лучше — прикажите спалить. Оно вернее будет. И ни о чём не жалейте: останутся кости — мясо нарастёт…

Они и хозяйничали. Учась когда–то в Смольном, — а старшие даже окончив этот замечательный институт, — они многому были научены. Умели многое. И с удовольствием, как свидетельствуют семейные легенды, занимались хозяйством. Приехав, Николай Николаевич, сходу, увёз их в Старую Гуту к своему другу Рихарду Бауэру. Записался его родственником. И занялся тем, что умел и любил — выездкой лошадей на местном конном заводе. В свои 63 года он оказался молодцом! Наталья Николаевна тоже трудилась — приглашаема была в семьи колонистов, учила их детей французскому, да и «цивилизованным» немецкому с голландским: разговаривали–то они и писали на мешанине из старо–фламандского, старо–швабско–немецкого и некоего благоприобретенного уже в России за 200 лет типично деревенского межплеменного койне. И не плохо зарабатывала. Было–то ей далеко за семьдесят! Бабушка Марфа хозяйничала — хозяйство было огромно. Мама росла беззаботной, казалось бы, сельской нимфой. Только время было жестокое. В 1919 и 1920 гг. прокатилась по Украине волна чудовищных по какой–то тёмной библейской ритуальной жестокости массовых сожжений живьём(!) меннонитов — немцев и голландцев. Волынь ужас этот затронул чуть меньше — жгли, главным образом, многочисленные и многонаселённые колонии Левобережья — в Таврии, на Хортице и под Мелитополем. Но жгли и у Одессы. И у

нас — у Винницы, под Житомиром, вокруг Кременца…

Организовывал и направлял убийц Троцкий, подстрекая и провоцируя этот невиданный геноцид, якобы, с целью заставить меннонитов–пацифистов служить в его красной армии. А за одно отбить охоту и у украинского населения уклоняться от мобилизации… Тогда у нас, на Волыни только, погибло их в огне около шестидесяти тысяч… Детей, в основном — их в меннонитских семьях, как у евангелистов, полным полно было! А молодёжь и семейные — эти давно мобилизованы были на разные «общественные» мероприятия. Мама была свидетельницей зверских убийств стариков–колонистов, которых для того люди из местечек пригоняли около двух лет к нам в Гутенские леса…

Свирепствовали в основном комиссарствующие евреи — их в «черте оседлости» было большинство. Узнав, что «на верху» свои — Троцкий, Ленин, Свердлов, Зиновьев, прочая шушера, — в органы ЧК бросились они в 1918 скопом — кланами, семьями, — кагалом, — грабить! Люмпен, в основном, грязная городская и местечковая уголовная шваль. Но и налётчики профессиональные тоже. Бандиты, само собою. А в общем — сарынь. Бездельники — они «дело» почуяли — возможность моментально обогатиться, обирая население «на законном основании» — «грабя награбленное»! И «с этим лозунгом в сердце», — «поняв» его буквально, — забили собою кадры криминальной большевистской охранки до отказа. А после февраля 1922, — когда ЧК упразднили и организовали ГПУ, — кроме них в этой палаческой машинки вовсе никого не оказалось! И они бесчинствовали, как им психология их воровская подсказывала! Никто же их, кроме своих, не контролировал. Зверствовали, убивали. И всё — ради грабежа, ради захвата «камней», выдирая их вместе с ушами, и добычи золота — этого хоть из тайников, хоть изо рта! К ним, на Юг, спасаться от таких же питерских, а потом и от московским большевиков, бросились все сословия, веками зарабатывавшие царской службой и накопившие честно свои достояния! А там встретили их мерзавцы, которые по приказу главного своего швондера жгли живыми беззащитных соседей! Тех, кто их, бездельников, двести лет кормил и поил! Жгли по всей Украине. И на немецко–голландской «улице» её, в частности, где сопротивления им никто — по религии своей — оказать не мог.

Не мудрено, что когда в 1941 на Украину ворвались немцы, и в Киеве, — как и в тысячах других украинских городов и сёл, — счастливый народ встретил их «хлебом и солью», начался невиданный со времён хмельничины еврейский погром! И уже сама Украина уничтожала теперь всех подряд своих палачей. Виновных. И не виновных тоже. Всех скопом! Тех даже, — а их

подавляющее большинство было — нормальных и добрых, — кто тогда, в Гражданскую, и думать не думал кого–то трогать, вообще, обидеть кого–то. Кто не грабил никого и никого не убивал…

Козлы–провокаторы — они ради наживы — снова загнали свой народ на очередную бойню…

Когда мама выросла в 17–и летнюю красавицу, — да ещё и адлербергoвской породы и стати (да и порода Кринке была ой как сильна!), — её «заметил» старший сын Нойборнского колониста Юлиуса Рейнгартовича Кринке — Отто. И Отто — тоже парень «весь из себя» — стал наблюдать за ней. Присматривать. Приходить. Знакомиться с бабушкой и бабой Надей. Начал приглашать её и старых на концерты музыки — там замечательные народные оркестры и солисты были, выступавшие даже в Вене и Мюнхене! Да и известные немецкие и австрийские концертные ансамбли и оркестры, во время гастролей в Житомире, не считали зазорным давать концерты и в колонистских клубах и кирхах. Конечно, бабушка Марфа категорически против была «какого бы то ни было мезальянса». «Чтобы наша Мелитта и…!». Она просто не понимала, на каком она свете. И что за время наступило. Зато понимал Николай Николаевич. И усмехался в усы.

…Ну, Отто ходил–ходил… Жда–ждал… Мама–то моя будущая была совсем девочкой. И замужество было не первою, — не главной, во всяком случае, — заботой её в девических мечтах.

А у него… Он и через десятилетия любил её, как мальчишка. И берёг, как мог. Кроме того, он и себе знал цену: даже в преклонные года, и даже после сложнейшей операции в Боткинской больнице в критические дни страшной эндокринной болезни гиперпаратериоза, смотрелся он «первым парнем на деревне»!…

А тогда… родитель мой будущий ходил–ходил. Ждал–ждал. И не дождавшись будущей мамы моей «намёка», средь бела дня «закинул тёлку коню на холку». И выскакал махом полста вёрст до Нойборна, где уже ждали их родители его, родня, гости — вся колония, пастор со священником, свадьба… И Николай Николаевич!

Знай наших!

«Ковбои–то — они не только в Техасе или в Голливуде водились!» — с гордостью говорила мама.

Мама счастлива была несказанно от спектакля, устроенного папой! Начиная от «похищения» её «из сераля» и до… самого молодого красавца мужа–кентавра, во время бешеной скачки к их дому в Нойборне не выпускавшего её «из своих железных

объятий!»…Мама рассказывала (подумалось, с никогда не прошедшей гордостью) — «С коня сняли меня мокрой насквозь: за те часы скачки папа–то твой будущий не догадался хотя бы один единственный разик спустить меня, чтобы пописать…»… Настоящая, живая жизнь вошла в нищенское житьишко девушки. Вовсе не ко времени пришибленное не пролетарским происхождением и трагической неопределённостью времени. Ну и папа — он тоже был на седьмом небе: такую красавицу засватать! Пройдя с четырнадцати лет огонь, воды и медные трубы почти семилетней бесприютной обозной Одиссеи, когда за каждым несчётным поворотом бесконечных дорог ждала его смерть, да ещё повидав собственными глазами, что комиссарствующие мерзавцы творят с его народом, — как сжигают живыми(!) святых немецких и голландских хлеборобов, мухи не обидевших за пол тысячи лет их меннонитства, — он «кое чего» понял. И, возвратившись, — ни дня не передохнув и не отойдя ничуть от страшных будней и не менее страшных картин пути по облитой кровью земле Кавказа и Украины, кинулся — как в омут — в… науку. Окончил с отличием Сельскохозяйственную Академию. Стал «учёным агрономом». И превратился не просто в наследника своего отца. Но, прежде всего, в главного помощника его и управляющего большим крестьянским хозяйством с конным заводом.

Пошла захватившая его целиком работа, в которой мама была первой ему помощницею: «Королевской выездке» учили её в том же Смольном. А теперь, здесь, — учителем, ментором, — не стареющий родной Николай Николаевич. Между тем, начались и пошли бесконечной чередою конные соревнования и выставки, где Отто представлял и выводил на треки ипподромов новые породы рабочих и кавалерийских лошадей, выведенных и воспитанных отцом его Юлиусом уже не без его участия. Посыпались щедро и призы на республиканских и союзных соревнованиях в Черняховске и Житомире. Трижды получал он почётные дипломы и грамоты из рук Главного инспектора кавалерии Красной армии героя Гражданской войны Семёна Михайловича Будённого, который… недавно совсем, в 1920–м, драпал без задних ног мимо них от польских улан. Дважды получал дорогие и почётные призы от Бориса Васильевича Петровского, председателя ВЦИК Украины. А однажды предстояло ему получить диплом с призами из рук самого… палача — сжигальщика меннонитов Льва Давидовича Троцкого, председателя Реввоенсовета Республики! Но у папы, «вдруг, сломалась» голень. Даже повязка с шиною оказался на месте. И он на торжества не явился: видеть эту паршивую рожу не мог! Отец

же, Юлиус, — он горд был не своими лошадьми, а полем. Пшеницею. На его полутора тысячах гектарах пашни год за годом — засуха ли была, или одолевали затяжные дожди — вызревала регулярно до 60 – 68 центнеров с га(!) — «Золотая Фламандская»! «Твёрдая» пшеница, — уникальный и бесценный продукт, выращиваемый в России т о л ь к о колонистами, — которую всю почти отправлял он в Европу на семена! Это был высший класс колонистской хлеборобской работы. Уже тогда, в 20–х годах, — в свистопляске перемежавшихся «разрешений–запретов» на самоё землепользование, его семья из пяти мужиков, — наёмных работников было всего трое, и те — на конюшнях, — кормила 110 горожан. И это о нём написал в своей книге «Наши колонии» Франц Маркус, учёный профессор, что вот именно не «Золотая фламандская», а такие вот золотые хозяева и составляют золотой фонд крестьянской России. Ведь в то время фермеры–американцы «фуражировали» «всего» около пятидесяти пяти своих городских жителей. И даже сами голландские хлеборобы — «лишь только» — 50 – 60. И призы, что он получал за «Золотую», были ему и пятерым сыновьям его подраставшим (Отто — не в счёт, лошадник) Ленарду, Владимиру, Сергею, Павлику и Фридриху дороже всего на свете!

А по огромному и обихоженному мамой и бабками дому бегали уже и шкодили четверо мальчишек–погодков… Братьев моих старшеньких…

Счастье пришло!

Но вот этого вот советская власть перенести никак не могла. Ей требовался повальный голод. И вселенский мор. Чтобы за хлебную корку заставить голодных людей перегрызать глотки друг другу. И она приступила к окончательному изведению станового хребта России — работящего мужика–производителя.

29 января 1929 года явилась она и в дом деда и папы…..

Подробности?… К чему они? Было всё как у всех других десятков миллионов. На глазах семьи застрелили деда Юлиуса Рейнгардтовича, четырёх его взрослых сыновей и кинувшуюся к ним бабушку. До нитки обобрали. Содрали одежду и, — как блатные на зонах обобранным ими «мужикам», — кинули им прикрыться ошмотья — «сменку». Связав мужчин (с 10 лет), отвезли подводами к железной дороге. Набили битком в разбитые телячьи вагоны. И через белорусский Мозырь погнали в Сибирь.

Было всех в эшелоне с началом пути 2086 душ.

Слава Богу, дед мой, бедный Мартин Владимирович (Адлерберг, генерал–лейтенант, врач, тяжело раненый в 1915 году. В. Д., умерший 6 февраля 1928, годом прежде, тихо, во сне; потому родные успели по людски похоронить графа, — оплакав,

отпев открыто и назвав настоящим именем, — в ограде православного храма в Пулине. И поставить ему Святой крест).

…Шел этап до города на Енисее 26 месяцев. Быстро сперва шел. До Урала. На Урале началось! Останавливали эшелон у первого попавшегося «приличного» городка. Мужчин — от 12 до 65 лет — выгоняли на работы. Этап–то был из трудяг! Все, от подростков, умели уже плотничать, столярничать, слесарить, класть кирпич и бетон. И конечно скорняжить. А скорняцкой работы было не переделать: что ни рабочий посёлок с фабрикою, то конный двор. И других работ — невпроворот: власти обстраивались, а рубить дома и подсобки для них не кому было. Как некому было класть печи. Как технику не кому было ни отремонтировать, ни отладить, ни запустить. Всё это и делали наши мужчины меж строительных работ. А женщины… Их, «баб», «ставили на бетон» или отрывать траншеи под трубы и силос…

Работающим давали «суп» — воду с травой. И после смены — ломоть брюквы и 200 граммов хлеба. Говорили им: «в стране голод — ваша кулацкая работа! И вам бы не харчи, а пулю!». Запертым в вагонах старикам, больным и детям хлеба давали совсем тоненький ломтик. И работающие относили им свои «пол супа». Это было преднамеренное убийство «не производительной части» этапа голодом — тот же организованный голодомор! И люди в эшелоне быстро умирали.

Первой 11 марта 1930 года, когда эшелон подходил к Барабинску, погибла Надежда Николаевна (Бирулёва, дочь героя Севастопоря, адмирала, подруга В. кн. Елисаветы Феодоровны; мачеха Мартина Адлерберга, прадеда Нины Оттовны. В.Д). Превратившаяся в мумию, она до последнего дня спасала малышей, деля и отдавая им свой хлеб. Марфа и мама обрядили её…Но когда Николай Николаевич (Адлерберг, граф, сын Амалии Крюденер /см. Пушкиниану/, внук Вильгельма III Прусского; мама Нины Оттовны, Мелитта, его внучатая племянница) и папа попросили конвой «выпустить их, чтобы похоронить Бирулёву(!), дочь российского героя», конвойные (не россияне) поняли моих так, будто они не просят, а требуют! Потому их связали, избили, бросили на пол. Выволокли труп. Н. Н. И створ задвинули…

Что стало с телом они не узнали…

И пошло…

Умер, задохнувшись в скарлатине, мой пятилетний братик Володя. Умер от фурункулярной ангины пагодок его Сашенька. Умер во сне от удушья трех летний Мартин. Уже у Яи — станции перед самым Красноярском — погиб от переохлаждения самый маленький братик мой, — отчаянным бережением папы и мамы доживший до Сибири, — Рони. Рейнгард, названый в память об

отце убитого деда Юлиуса… И маленький трупик его конвой, — навалившись на бесновавшегося папу, — выкинул в ночь… Его в этот раз, отпустив, не тронули. Кто–то из двоих конвойников, ещё держа папину голову, сказал: — Чего хотите? Четвёртый же парнишечка у его…

Все братики мои погибли из–за стужи, которая в разбитой теплушке по зимам была все проникающей, усиливаемая стократ круглосуточным ураганным сквозняком, голодом и тем, что укутать ребёнка было не во что — всё отобрано было дома ещё. И отбиралось непрерывными повальными обысками–грабежами. Хотя что же было грабить?!

А если быть точной, их убили.

Выпрашиваемого на каждую дырявую печку — «буржуйку» из ржавой жести угля–мусора хватало на час–другой. В остальное время единственным спасением было — прижаться друг к другу и пытаться спасти частицы тепла от сухаря и ломтя брюквы. Хлеба последние месяцы «не полагалось»!…

Когда 25 марта 1931 года эшелон втянулся на станцию Красноярск–сортировочная, в теплушке появилась на свет я… Если, конечно, светом считать межнарное пространство, занавешенное на этот случай папиной рубахой. Мама о рождении дочери узнала не сразу. Она уже второй месяц была без сознания, и на глазах таяла, не умея пережить смерть маленьких сыновей…

В сорока пяти градусный мороз нас выгнали из вагонов и затолкали в открытые — под навесами — пакгаузы. И сразу стали раздирать семьи. Слабые и старые с маленькими детьми «покупателям» рабов — кадровикам северных горно–рудных предприятий — были не нужны. Они отбирали мужчин и выглядевших здоровыми женщин. От остальных отмахивались: «не надо!». И были эти постоянно повторяемые нелюдями слова «не надо!» приговором, более страшным, чем смертный.

Из привезенных живыми нашим эшелоном в Красноярск 1016 ссыльных — это из более–то двух тысяч(!), увезенных им с Украины — для этапа на север отобралось 822. Остальных увели и унесли куда–то. Но и без них возле зданий, у рельсов и по тёмным закоулкам станции валялись сотни умирающих. Или уже погибших от голода и холода, но ещё не убранных и не захороненных людей. А эшелоны с ссыльными всё прибывали и прибывали один за другим…

Самым непереносимым из всего, что прошли — через много лет вспоминал папа, — были раздирающие сердце картины расставания навсегда теряющих друг друга членов больших семей… Слава Богу, мама этого не видела. И не пережила. Она и после моего рождения с полмесяца пребывала в беспамятстве. И

первая грудь, к которой я припала вскоре по выходе из вагона, принадлежала… проводнице отправлявшегося куда–то на восток рядом с пакгаузом стоявшего поезда. Она забежала со мной в свой вагон. Покормила меня. Поцеловала. И, — чуть не бросив меня на папины руки с подножки уходящего поезда, — навсегда, безымянной, исчезла в грохочущей вьюжной мгле. Успев спасти мою только что обретённую и уже истлевающую жизнь, но не успев назваться…

Боль этого исчезновения её во мне навечно. Скоро семьдесят лет. А я ночами без сна всё пытаюсь и пытаюсь найти в себе и представить лицо этой Женщины. Её глаза. Улыбку её — она же не могла не улыбнуться чуть живому комочку жизни, присосавшемуся к ней! Пытаюсь… И не могу…

Потом меня кормили грудью женщины из этапа по Енисею. И дальше. И даже уже на месте, в Удерее. Многие из них, когда не стали давать хлеб, потеряли младенцев — кого–то перед самым прибытием эшелона в Красноярск. И были с молоком. Но они, почему–то, — почему не знаю, — в сознании моём спасителями моими на отложились — хотя, конечно, именно они спасали и спасли меня! И я это тоже ношу в себе — это чудовищное не понимание их добра ко мне. Но всё равно, вырастая, думала почему–то только о той, о первой. Которая первая покормила меня и поцеловала. Это папа заметить тогда смог. Он сам говорил, что заметил. Но не отреагировал во время. И не кинулся узнавать имя той, первой, — проводницы. Тем не менее, за «толстокожесть» его не виню — за то, хотя бы, что не догадался спросить имя моей Главной Кормилицы, которая покормила меня и исчезла…

…Исчезла, не просто оставив жить. Но, — кинувшись со мною на свой поезд, — позаботилась, чтобы жила я и мама дальше: оттерев, она завернула–запеленала меня в новые простыни и обернула в несколько казённых одеял…

Папе не до сантиментов тогда было — он занят был мамой. А ей плохо. Она не приходила в себя — гибель маленьких сыновей добивала её. Когда наш этап двинулся из города к реке, и папа, обернув маму мешком, взял на руки, чтобы нести, случилось Второе за тот день Чудо: начальник конвоя — сам(!) — разрешил положить её со мною в одни из пару десятков кошовок, в которых лохматые лошадки везли запасённые в дорогу тюки с сеном для себя и еду для всех, и на которых в пути отдыхал конвой. Он даже сам укрыл маму и меня своим тулупом! А вот то, что нас не «разодрали», то, что нам разрешили выжить вместе или вместе умереть, было Первым Чудом…

Было Чудо Главное — наперёд помянутых. Но о нём — потом,

как ни будь. Оно узнано было мною при обстоятельствах, для меня самых печальных…

И надо же тому было случиться — или Произойти — тот же конвойный начальник сказал кадровикам–покупателям: «Этих не трожте! Пущай вместях едуть». А ведь потом, на этапе, был зверь–зверем. Катом! Вот и пойми их.

Нужно ли после этого какое–то «шестое», — не вовсе корректное к тому же, — Кантово доказательство Его Существования?! Мне — нет. Мне не надо… и к чему оно мне, после того, как узнала через много лет о Главном Чуде, случившемся 25 марта 1931 года на станции «Красноярск–товарный!.

И вот, нас свели на самую середину широченного — до горизонта — Енисея. И погнали вниз. На север. Погнали по льду, укрытому трёхметровым снегом. Как мы шли? Самые сильные мужчины двигались впереди, временами сменяясь. Они ложились на наст. Сминали его. Топтали. Торили тропу. По сейчас не нахожу слов, чтобы правильно назвать и оценить этот невыносимо тяжкий и выматывающий силы труд. Потом, выросши, я сама так же торила тропу. Но то было в охотку — на охоте. Или по дичайшей случайности, когда ломались лыжи. Но ведь я сильной тогда была. И сытой! И торила не сотни вёрст…

А тут первый — Енисейский — участок пути, — 320 километров! Потом -Ангарою — ещё 260! Потому, один прошли за 23 суток. Другой — за 34. Шли по середине реки. Конвой сперва боялся массовых побегов. А высоченные берега–обрывы, — снизу, от самой реки, до верху — до матёрой, стеною стоявшей чёрной бескрайней тайги, — тоже сплошь заросли густым лесом. И, рванувшись, молодым и сильным можно было уйти…

На пятую или на шестую ночь пути — мело сильно, начиналась вьюга и тьма была — не проглянуть — несколько человек из этапа так и сделали — рванулись. И ушли. Николай Николаевич не спал и видел, как всё было. А было… что они, будто растворились в снегу… Накидали друг другу на спины снега и пошли друг за дружкою, по волчьи, след в след… Озверевший конвой метался, стрелял… А потом согнал нас всех в плотную толпу и так продержал до утра, пока не стало светло. А по свету, после поверки, выдернул в сторону семьи бежавших. И побил всех…

После расстрела никто больше бежать не пытался.

После расстрела, — издали, с речной середины, — берега казались бредущим людям высоченными — до неба — тюремными стенами, надёжно окарауливающими их от мира. А что такое «середина многокилометровой шири реки» меж берегов

— стен? Если Енисей, то это ледяной, насквозь пронизывающий и сбивающий с ног ветрище — хиус. Или многосуточная метель с вьюгою — пурга. Она заносит путь, людей — хоронит… Убивает удушьем… Многих метель убила. Но надёжней убивали людей «люди» — конвой. Конвой знает, что мы ничего не стоим. Что там, куда нас гонят, нужны не мои родители и дядья, а некая безликая и безымянная «раб сила». Не нужны мы никому и там, откуда нас согнали и увезли. О нас там давно забыли. Потому никогда никто не спросит: а куда это они — мы — делись?! Но конвоё должен довести до места назначения 822 головы. А нас уже много меньше. И виноваты в этом мы сами — мрём! И даже бежим! И озлобленный до умопомешательства конвой, — жизнь которого — он это не хуже нашего понимает — в ледяной этой дороге так же, как и наша, не стоит ничего ровным счётом, — звереет. Беснуется. И убивает за не быстрый подъём после ночёвки. За отставание в пути от колонны. За попытку чуть отойти в сторону оправиться — замерзающие–то, они сдерживаться долго не могут. А обмочиться — тоже смерть… И справлять малую нужду глядя в глаза товарищам ещё не научились — не превратились ещё в животных.

Потому до Ангары, «на зло конвою», добрело 382 души. Из 822… Меньше половины вышедших из Красноярска. Как теперь они, сволочи, отчитаются?

В дневном пути костров не жгли. Только на вечерних стоянках. Чтоб не задерживаться понапрасну и не терять дневного времени, говорили. Вечерами «пищевого довольствия» полагалось на каждого по пол литра «тёплого» кипятку из снега, оттаянного на том же костре. Чего бы проще? Задолго до 1917 года по берегам главной реки Сибири каторжники готовили дрова для пароходов — 2–х метровые, словно из–под заводского штампа, баланы. И укладывали их через каждые восемьсот сажен в высоченные поленницы. Они и по сейчас целы кое где, — не разворованные ещё из–за мизерности постоянно убывающего населения, — вдоль всего двух с половиною тысячекилометрового Енисейского фоватера — от Минусинска на юге, до Диксона–острова на севере. Пароходы–то — они полвека скоро как ходят на солярке или на угле. А от тех поленниц вниз, к плёсу, устраивали удобные съезды. Тоже на всём протяжении от Диксона до Минусинска. Большая часть тех съездов цела ещё — не оплыла и лесом не заросла. Предки думать и работать умели!

Но конвой, — я не о нашем только. Я обо всех конвоях, которые за семьдесят советских лет перегнали по Енисею на каторгу и в смерть — миллионы граждан страны советов. Они все то ли подниматься по съездам ленились? То ли новых побегов

боялись? Но каждый раз каждый конвой зимнего этапа упорно и тупо заставлял измождённых голодом и стужею людей, — что тоже каждый раз по десять часов кряду торили тропу, — голыми руками обдирать по низу обрывов — у самого обреза реки — метровой наледью покрытые сырые лесины! И жечь в наших кострах мокрые их, и из–за того еле–еле тлеющие, ветки. Потому вода у нас до команды «стройсь!» закипать не успевала. И мы пили её с ночного мороза ещё холодной. Закипала она только у конвоя. Но для его костров женщины там же подбирали сушняк.

А поленницы стоят себе вторую уже сотню лет. Сохнут себе дальше, сухие, как скрипки Страдивари. И горят временами, белым весёлым пламенем в частых лесных палах…

С водою вечерами выдавался ломтик мёрзлого турнепса. Его на «пайки» рубили топорами. За разлетавшимися от того «щепками» шла настоящая охота. Утром — те же пол литра снежной воды. Тоже холодной — некогда было догревать, «людей расслабливать» — нас надо было быстро гнать дальше. До следующего, вечернего, ломтя турнепса.

Слабые замерзали. Их отстреливали.

С половины, примерно, енисейского пути, мама начала вставать. И, однажды, не стала — отказалась — ложится в кошеву: «Чем я лучше других?!». Её «заметили». И, однажды, — не знаю, как всё произошло — на тему эту дядьки мои, мальчишки, вспоминать и говорить стеснялись, даже когда выросли, — женщины, кормившие меня грудью, сговорясь, стали молоко своё сдаивать в туесок. И заставляли маму его пить. Ей стыдно было. Она плакала. Но нужно было выжить, ради меня хоть. Её заставили… И она стала пить дарёную ей Тёплую Жизнь…

…Или Вам нужны новые «шестые» доказательства Его Сущности?

Вечерами вся наша семья плотно нас с мамою обступала. Все выстраивались, наклонясь вперёд, друг к другу головами. Папа клал меня крупному Николаю Николаевичу на большие его руки. Тот вставал перед мамой. Все «смыкались», на манер эскимосского иглу, прикрывая нас. Папа разматывал тряпки, в которые я была завёрнута. Николай Николаевич растирал меня снегом — потом это спасало меня от простуд. Папа обмывал частью семейной порции «кипятка». И оба пеленал. Потом кто–то из женщин кормил меня — молока у мамы так и не появилось, пропало. Николай Николаевич заворачивал меня в ту же рвань — у нас даже нитки с иголкой отобрали! И передавал папе, который никому меня не доверял и весь путь нёс сам. Он и от санок не отходил, когда нас, по первости, везли. А потом нёс, когда маме стало лучше. А ночами спала я за пазухою у Николая

Николаевича. У дедушки Коленьки…

Он был железным человеком. Только похудел до скелетоподобия. И вместе со мною на нём, под старой его шинелью, спали ещё и Рони с Мартином — маленькие.

Утром — та же процедура. И в путь.

К посёлку Стрелка в устье Ангары подошли 22 апреля.

До конца их жизни покойные ныне родители мои, — и дядьки, которые, слава Богу, живы все и здоровы, — вспоминали Стрелку! Впервые за многие месяцы этапа отогрелись они, отхлестались вениками и вдосталь отмылись в жаркой поселковой баньке! И первый раз в моей жизни отпарили, отогрели, оттёрли, отмыли меня. Этот банный день — «Красный» в маминых записках. В нашем семейном календаре. В памяти нашей.

Важно вот что: там, в бане, они поверили, что выживут! Все!

От Стрелки пошли к востоку, по Ангаре вверх. Путь стал страшнее енисейского. Двигались не по снежной скатерти речной равнины. А бились в кровь, — кто–то руки и ноги ломая, — меж огромных, в дом величиною, ледяных рванных — колотых осенней шугою торосов. Скольких несчастных потеряли на этом пути — «не считали». Почему–то число дошедших до конца никто из выживших не называл никогда. Потому, возможно, что на Ангаре — торосах — конвой особенно зверствовал, убивая сломавших кости… «Не ходячих». Двигались–то и без того по черепашьи. И скотов покалечившиеся раздражали и злили особенно.

В ночь на 28 мая подошли к тому месту на правом берегу Ангары, над которым лежит заимка Рыбная у деревеньки Бельск. Сказать только: «лежит»! Лежит–то она Бог знает где! Карабкались к ней вверх высоченным обрывом береговой скалы, хватаясь и подтягиваясь за ветки кедрового стланика. Папа со мною за пазухой — впереди. Николай Николаевич с Рони и Мартином под той же шинелью — замыкающим. Крепким оказался наш старик!

Карабкались, обессиленные, полу мёртвые, но уверовавшие, что всё! Конец! Выжили. И дожили.

Последние дострелянные валились вниз… Зачем убили их? Зачем?….

Говорили потом: конвой шибко осерчал, узнав, что снизу пути к заимке нет. Что нужно гнать народ ещё вёрст с десяток вверх, до Мотыгиной, а оттуда уже, обратно –зимником — в Бельский. А сил и у него тоже, у конвоя, не осталось. Потому, со зла, погнал он людей на скалу…

И стрелял по ним, зверея. Но патроны кончились…

Живых, — кто не сорвался, кого на скале «в лёт» не пристрелили и у кого сердце надорванное не разорвалось, — собрали наверху и загнали на лесное кладбище у самой заимки. И, теша неутолённую злость, держали–морозили на нём ещё двое суток — «терпение» их — говорили — кончается.

Но прежде терпение кончилось у Николая Николаевича и у папы.

Они пошли со мною — как кегли валя конвой — к избам. Николай Николаевич был страшен. Подходить к нему опасались — был он посреди всех великаном — адлеберговых статей был человек!…

Заклацали затворы по пустым патронникам. Заорали барахтавшиеся в сугробе. Заблажил, выпроставшись из снега начальник. А мои шли. Навстречу вышел из пятистенки старик. Подошел. Поздоровался. Велел идти к нему и никого не слушать. «Надо жа дитё перевернуть, элиф нет?!». Отстав от папы и Николая Николаевича, конвойные накинулись на старика. Но тот стряхнул их. Забежал в избу. И выскочил с двустволкой. Тут же с ружьями стали выбегать мужики из соседних изб. Видно, двое этих суток наблюдали и ждали, что ещё конвой навытворяет с ссыльными. И не выдержали. А сейчас стали стрелять, матерясь. Но убедившись, что у конвоя патронов нет — повязали его, благо и он дошел окончательно, как наши.

И то — не опомнись они, их бы потом за стрельбу… Кто знает, чем бы всё потом кончилось? А пока кончилось миром. Ссыльных растащили по избам. По избам разнесли конвой.

У старика и у его старухи прогостили все мы с неделю. Было нас теперь — выживших и целых — Николай Николаевич, папа, бабушка Марфа, Мама, пятеро папиных братьев — шестнадцатилетний Ленард,, пятнадцатилетний Володя, Александр четырнадцати лет, двенадцатилетний Мартин и Рони —Рейнгардт девяти лет. Мужики! Армия! Рыбнинские откармливали нас и отпаивали свежениной — лосиным мясом, гусятиной, молоком и самогоном, конечно, с бражкою.

Брагою и самогоном с лосятиной неделю рыбнинские мужики угощали обезноживший конвой. Какие — никакие, но они, конвойные, тоже люди… Опившись, начальник расчувствовался, велел резать всех своих лошадей, — которые из Красноярска тянули турнепс и сено, — тоже нас кормить. И самим. Даже тесаком махал… Когда надоел, его снова связали. Закинули у кого–то на печь.

Пьяный сутками, просил у нас у всех прощения. Трезвый на час — грозился расстрелять — «Усе–ех как ессь!»…

Имя старика, — рыбнинского нашего благодетеля, — Павел

Иванович Зайцев, забайкальский ссыльный казак. Охотник. Имя казачки его, благодетельницы нашей — Пелагея Степановна. Из тех же.

98–и летние, потерявшие всех своих — уже взрослыми — шестерых детей, дожили они до 1965 года, когда мы с Беном, Фаечкой, Сашей и постоянно навещавшими их моими дядьями гостили у них. Жили они справно. В стариковском достатке, обихаживаемые невестками Ленардта и Александра.

Навезли, напокупали им Бог знает чего! Положили в Мотыгино на открытый нами для них счёт весь американский гонорар от книг Бена…

А они ничего не помнили. Не понимали ничего. Плакали только…

9 мая — без потерь, сами — пришли мы в село Мотыгино, Вячеславом Шишковым в его Великой Книге «Угрюм–река» заклеймённое «Разбоем». А тогда, в 1931, было оно тихим, мирным Ангарским портовым посёлком. Центром начинавшейся геологоразведочной страды огромного края. Сразу, не дав опомниться, мужчин — и тут от 12 до 65 лет — отобрали, отделили, окружили вооруженными ружьями пешими и конными «активистами» и угнали! На север, как оказалось. И тут на север! Но теперь уже не насовсем, а строить новый прииск. Для нас. А нас, оставшихся, завели… в старые геологические канавы недалеко от крайних изб села. В канавы просто. Деваться некуда было — ещё лежал снег и стояли морозы. Залезли. Накрыли канавы слегами. Укрыли ветками ели. Снегом засыпали. Получились «землянки». Мальчики запалили рядом жаркие костры — тайга подходила к селу вплотную и топлива было навалом.

Сперва, — рассказывала мама, — было «тепло и мило». Но грянула весна. В Сибирь она не приходит. В Сибири она не наступает. В Сибири она разражается! Грядёт! Вот она и грянула. Нас затопило. Тогда очень сердобольные и предельно интеллигентные геологи — почти все из Ленинграда — пригласили утопленцев с грудничками к себе в… щели меж дровяных навесов в овраге…

«Гостеприимство» их рассчитано было точно: на следующий день утром нас всех погнали тоже на север — за сто двадцать километров от Ангары, где наши мужчины уже срубили на будущем прииске несколько бараков. Шли неделю — семь дней. И ещё не дошли к ним, как их снова угнали. Теперь «на запад», к ангарскому устью (где напротив, — в той самой Стрелке, — самая та банька знаменитая!) — тащить оттуда детали новой электрической драги. Мы не знали, что это такое. Нам

разъяснили. И уточнили: на долго… Года на два…

Я говорю всё время — и упорно — «мы», «нас», «нам» потому, что не помню с какого времени — крохотка муравьишка — жила уже целиком жизнью и интересами больших СВОИХ муравьёв. Жизнью и проблемами СВОЕЙ муравьиной семьи. Но и жизнью Сообщества Рабочих Муравьёв, в которое вознамерились и силились превратить нас захватившие власть в России слепые, как оказалось, комиссаро–большевистские черви. Трупные, в основном. И если на что и пригодные, то лишь на гумус, в который чуть позже «переработает» их Сталин.

С пелёнок жила я жизнью моих родных — дядек, которых любила не передать как. Жизнью бабушки Марфы, которую боготворила. Жизнью папы с мамой — ну, они были просто «сама я»! Конечно, я жила и жизнью Николая Николаевича, дедушки Николеньки, которого, как Маугли Волка, признавала Непререкаемым Вождём Стаи и которому поклонялась! Известно: каждый ребёнок — ещё эмбрион, плод ещё — уже в материнском чреве начинает воспринимать волнения матери или чувствовать победительное обаяние классической музыки и наполняться ею, — Божественной Животворной Силою её и Её Святым, во истину, Духом. Так и я тоже, по видимому. И где–то со времени, когда завязывалась моя душа, — а завязывалась она в экстремальной ситуации, когда насилуемые чувства особенно обострены, — я стала жадно воспринимать, — безусловно к восприятию предрасположенная, — беды и несчастья близких. Горе их. Муки. Радости. И пусть по младенчески, пусть по детски — воспринимать очень рано. Главное, воспринимать к а к с в о и!

И снова: «Когда?». Страшно даже подумать… когда! Кто знает, быть может с момента зачатия…

Но именно так ощущала и впоследствии понимала я чудо приобщения своего к миру родителей. К миру моей семьи.

Барак, в котором с десятком других семей нас поселили, срублен был «в охряпку» — на живую нитку. Нет! Нет! То никакая не вина наших мужчин! Они могли срубить Терем, Дворец, Дом Сказочный — они, умельцы и трудяги — могли всё. Но им не позволили «растрачивать народный лес и раб силу на хоромы для врагов трудового народа!». Так мы, наконец, узнали кто мы. И что приисковая потомственная пьянь, первые полдня ищущая где бы опохмелиться, а вторые — наливающаяся бормотухою и «бражкой» — она и есть трудовой народ, который «весь мир насилья… и разрушит до основанья, к такой–то матери…». А папа мой, с убитыми ими моими дедами кормившими хлебом и вот эту вот приисковую сарынь — «паразиты». А потому классовые враги этого самого «трудового народа», день–деньской валяющегося по

канавам и ожидающего нового этапа новых «врагов народа». Чтобы, очухавшись, отогнать и его на работы. А сделав это общественно полезное «дело», снова залечь в теньке под ёлкою или за печкой в избе, до следующего «вражеского нашествия» — до следующего этапа. И так — без конца. До полной победы коммунизма с большевизмом на планете всей.

Потому на бараки для нас, врагов, шел мусорный лес — корявые осины и бросовая береза. Чтобы мы зимою в них мёрзли и чтобы летом нас в них заливало. Эпоха ликвидации российского крестьянства начиналась не просто с рутинной, без церемоний, передачи ещё в середине 20–х — эстафетою — «по доброму» работавшего с 1918 года над коренными сословиями поверженной России ТОПОРА Большого «пролетарского» террора. Но с изощрённых издевательств над казнимым мужиком. Над нами. Над самим русским народом. Над здравым смыслом, наконец.

Естественно, и надо мною.

Поняла это тоже рано. Очень рано. Слишком рано, возможно. Дело в том, что возникающие на каждом шагу фантасмагорические ситуаций, вызываемые тупостью всех уровней и рангов большевистских правителей, остро переживались и ещё более эмоционально комментировались, — и осмеивались, — вездесущими и бритвенно острыми на язык подрастающими дядьками моими. Но только между собою! Только! Выносить свои «анализы и выводы» на люди — болтать на эти чреватые темы с «чужими» — папа братцам своим запретил под страхом «взятия в руки» плётки, Правда, «забытой» им на конюшне в далёком, будто на Луне, Нойборне! Но мальцам — им аудиторию подавай! Им слушатели нужны! Взрослые — не в счёт. Взрослым выслушивать их некогда. И они всем своим коллективом апеллировали ко мне, благодарной слушательнице. Напрямую. Окружали, лежавшую ещё поперёк лавки с соскою во рту, — соска была им выгодна: не позволяла мне возражать им. Она оставляла за ними обидное преимущество в возможных дискуссиях! И, подробнейше, не соблюдая очередь, — о какой очереди речь, если у каждого столько и такого накипало, — делились со мною — их невольной единомышленницею — новостями, идеями, и, вообще, наболевшим. Потому информацию и комментарий их усваивала хотя и беспорядочно, но органически, как материнское молоко.

И так, рубить добротные бараки для нас, ссыльных, из стандартного круглого строевого леса запрещалось! Из экономии. Круглый строевой стандартный лес — высшей категории мачтовая(!) красно ствольная(!) сосна — в одном только нашем

Удерейском районе огромного Красноярского края миллионами никем не мерянных кубометров шел «на золото». Нет! Не подумайте, что в смысле «на золото, которое в обмен на неё, на красавицу сосну, можно было бы купить у буржуев»! Ни в коем случае! «Просто» вырубалась безжалостно. Кряжевалась на месте на трёх или четырёх метровые баланы. И, теми же не мерянными миллионами кубов, укладывалась в гигантские, — много километровые по площади, и в 8 – 10 метров высотою — поленницы–небоскрёбы. Ставились они над будущими — проектными — дражными трассами–ходками. Поджигались в сентябре–октябре. за 5–6 месяцев до начала «кубажных» вскрышных работ. И горели всю долгую сибирскую зиму, медленно оттаивая под собою вечную мерзлоту полигонов на глубину 10–18 метров, чтобы ковши драг могли свободно вынимать «золотоносный» грунт.

Именно, «золотоносный» в кавычках. Вернее, «золотоносный» будто бы. Потому что богатейшее россыпное золото выбрано было здесь ещё в середине 19 века. А ныне — год за годом — выскребалось жалкими граммами из брошенных старых «мускульных», вручную сотни раз перелопаченных, отвалов. И на вопрос Бена другу его Тычкину: много ли в этом «Зльдорадо» собирает он металла, хотя бы, с самого «богатого» прииска — Партизанского, тот неизменно отвечал… «Много. Кот боле нагадит!».

Позднее узнала: нигде в мире такое невозможно, потому как немыслимо и противоестественно! Но разорили же по всей огромной стране сотни тысяч одних только единоличных — семейных — фермерских хозяйств! А ведь каждое из них — как наше когда–то — кормило сытно до 110(!) горожан! И самих хлеборобов убили на месте или по пути в Сибирь, когда страна опустилась в пучину голода! И здесь даже, в лесном царстве, держат в бараках из «мусорного леса», чтобы быстрее подохли замёрзнув!

Да, нигде в мире невозможно. Но не у нас.

И вот, можно бесценные реликтовые леса сводить на костры. Как можно, оказывается, из более чем двух тысяч ссыльных, загнанных в вагоны на Украине для пополнения парка рабов на Сибирских приисках, довезти до места живыми чуть меньше шестидесяти. Всё можно.

Как видите, с раннего детства — не с младенчества ли самого(?) — приобщалась я ещё и социалистической экономики. И тогда же от геологов и лесников услыхала ещё кой что. Например, что если бы весь лес, сжигаемый «для золота» только у нас, в районе, продать в ту же Америку, или в Австралию, то на

вырученную валюту можно было бы приобрести в 60 раз(!) больше металла, что добывается здесь дикими пожогами! Много чего узнала я ещё во младенчестве. Папа был моим Богом. Его слова — откровениями Божества. Его выводы — Божественным номоканоном. Иначе быть не могло! Он же с дедушкой Коленькой всех нас спас на этапе, — значит, Он и есть Спас. Спаситель наш. Бог! И каждое предвидение его непременно осуществлялось. Каждое предположение сбывалось. И если он позволял себе оценивать что либо, расчёт его оказывался математически точным.

Ещё он был Хозяином. И остался им. А захватившие власть швондеры как возникли на час, так и провалились чуть позднее в расстрельные подвалы, в тартарары, — ворами, аферистами и пустобрёхами….

… «Семейные» бараки, — как и телячьи вагоны — «теплушки» этапа, — продувались насквозь. Летом заливались дождями. Зимой забивались снегом. Наши женщины — «кулачки», трудоголики потому, — умели делать любую работу. И как утеплить или изолировать жильё от погодных катаклизмов знали отлично. Им ничего не стоило бы обустроить и утеплить какой–то паршивый барак: засыпать перекрытие и завалинки, законопатить мхом и залить смолою дверные и оконные коробки чтобы было тепло и не нужно было по зимам скалывать со стёкол и у входных дверей толстенные наледи. Но в пять часов утра по зимам, и в четыре летом, женщин поднимали окриками и палками. И, голодных, в сопровождении уже «набравшихся» верхоконных «активистов», угоняли полутора–двух часовыми маршрутами вглубь тайги на верхние — в горах — лесные делянки валить и кряжевать лес. На волокушах перетаскивать его к циркульной пиле. Кроить на трёхметровые поленья. Спускать их по водяному желобу в долину к речке. Плавить. Снова тащить — теперь уже к будущему дражному полигону. И, наконец, строить из него штабеля под пожог.

На все работы — «норма выработки».

Кто и как устанавливал её — тайна. Потому как подлее выдумки этой — «нормы» — ничего не придумать!

Чтобы «давать» её «установлен» был для наших женщин 12–и часовой рабочий день летом и 10–и часовой зимой. Авторы норм или уверенны были, что кулачки вполне способны «дать» их — нормы эти, или сочинили их для того, чтобы выполнить такой объем работ было невозможно. И мы — вальщицы — уже вальщицы! — немедленно попадаем в разряд «преступно не выполняющих план выработки». И как «злостные саботажницы», — автоматом, на законном основании(!), — лишаемся

продовольственного пайка! Как после этого нам жить — это уже наша проблема.

Власть на местах не лишена была специфического чувства юмора.

Зимой валить и обрабатывать лес легче: от спорой и непрерывной работы быстро нагреваешься. И стужа отступает. Нужно, «всего–то», не останавливаться ни на минуту!. И тогда ты, даже слабая и голодная, не замёрзнешь. Я это испытывала на себе не одну зиму, когда с 12–и лет, — став «взрослой», — начала выходить на лесосеку — срубать сначала сучки у сваленных стволов, а через два года валить лучком лес. Конечно, чтобы «споро и непрерывно», и «не голодной и слабой», необходимо было что–то утром съесть… То было тоже нашей проблемой.

Зимою — в особенности.

Летом с тем, чтобы «что–то съесть», было много легче. Зато с работою… С работой летом было что–то страшное, пока не привыкли. С самой весны мошка и комар жалили женщин нещадно. Но то было относительно терпимо. А вот когда с июня по середину сентября налетал мокрец! О! Крохотный, с четвертушку булавочной головки, вампир этот набрасывается на вас! Зуд от ожога им невыносим: лицо — лица–то не спрячешь — оно, будто, кислотою или крутым кипятком облито! Но, Боже упаси, провести по лицу рукою! Тогда движением этим раздавливаются слои невидимого невооруженным глазом пирующего гнуса, размазывается кровь, вытянутая из вас же этим прожорливым кровопийцей! И вот тут–то, почуяв открытую кровь, он набрасываются тучами…

Но, видимо… Всё же Господь нас отличил чем–то: ни моих дядечек, ни маму с папой, ни бабушку Марфу, ни дедушку Колю ни комар, ни мошка, ни даже мокрец не трогали! И мы не ходили никогда опухшими, как это было с большинством наших товарищей. Бена они тоже, оказалось, облетали!

Местные–то — они знали, как уберечь себя от гнуса. Надевали на голову мешки с сеткой, плетённой из конского волоса. Смазывались очищенным дёгтем и скипидаром, который гнали сами. Ну, геологи… Эти спасались крепкими мужскими одеколонами и спиртом. Внутрь, преимущественно. Но этого всего по началу у нас не было.

Норму, конечно, новенькие вальщицы в первые годы не выполняли. И потому «становились» саботажницами. А саботажницам — какая еда? Какой хлеб? Потому власть, заставляя нас работать по 10–12 часов, принципиально не кормила, отказав даже в хлебных карточках. Подразумевалось при этом, что в тайге еды — навалом! Бери — не ленись. Вопрос

тогда стоял так: «Ленятся? Пусть подыхают! Голод кругом. А тут… этих ещё корми!»…

После рабочего дня нужно было добраться как можно быстрее до барака — к нам, малышне, и к немощным старикам, ожидавшим нас как из боя. Но на дорогу к дому уходило куда больше времени — сил–то уже не оставалось вовсе. Да и не подгонял никто. Никто ни плётки, ни палки на пути к дому на нас не поднимал. Не кому было. Гнали и избивали по пути на лесосеку — на работу: «Давать кубометры!». Потому путь к дому оказывался тоже «нашей проблемой». Не разрешимой — и так бывало — для кого–то из женщин в один из роковых для неё вечеров. И, когда иссякали силы, смерть прибирала её прямо в дороге.

Но чтобы покойницу донести до барака ни у кого из них сил тоже не было.

Вот тогда–то, рядом с дорогою на первую их лесосеку в горной красно ствольной сосновой глухомани над Удереем–речкой и выбрали женщины место под кладбище. Под то самое — «на Горе», где похоронили потом маму мою. Где сожгли останки бедного Ясиро. Где лежат на вечно укрытые Вечным Лесом от скверны человеческой бабушка Марфа, дедушка Николай Николаевич. Где через много лет похоронили мы папу.

Да, к концу первого, 1931, года ссылки и третьего года с начала этапа выжило шесть семей! Шесть из более трёхсот пятидесяти, перегонявшихся в Удерею с Украины только одним нашим эшелоном. Не считая нескольких десятков «отбракованных», добитых и погибших в Красноярске.

Однажды, — когда я была уже подростком, и наш безымянный прииск назван был именем с пол года как пристрелянного большевиками большевика Кирова, мама неожиданно, разливая нам чай, вспомнила первые наши трагические годы. Этап вспомнила. Страшные «походы» первых лет ссылки на лесосеку. Скотскую «жизнь» в бараке. Словом всё, что к тому времени мы пережили. И сказала: если бы комиссаро — большевистская банда имела хотя бы долю разума! Если бы она имела долю разума! Тогда бы вожди её и апологеты должны были бы сообразить, что творят. И чем их художества самим им обернутся однажды. Ведь своими бездумными, — или, того хуже, нарочито сатанинскими, — действиями превратили они нас всех — мягкосердечных изначально, терпеливых и прощающих всё на свете женщин в разъярённых до умопомешательства тигриц, В бешеных зверей, которых им или уничтожить всех… А это уже невозможно: нас миллионы, разбросанных по всей огромной стране! Или попытаться изолировать нас до нашей смерти. Что

им тоже не удастся.

Но, так или иначе, им не дано понять, какой всесокрушающей мощи ненависть накопили мы к режиму большевиков! Какой беспощадной лютости к нему набрались! И сегодня передаём эту священную эстафету детям и внукам.

Тем временем, я росла, напитываемая щедро — пополам с любовью близких — окружающей меня первозданной прелестью потрясающе прекрасной, — а тогда ещё и девственно чистой, — природою Енисейского Кряжа. Ползала себе по тщательно оструганным папой и дедом Николенькою и любовно протёртым наждаком доскам «второго» этажа четырёх этажных полатей — нар нашей «квартиры» в моём бараке. От соседских она отгораживалась лыковыми занавесками. Ведь даже простынь у нас не было! Кроме Улан—Удинского деревянного спирта, виноградного грузинского «варенья» в насквозь проржавевших пятилитровых банках и трех литровых стеклянных банок с прокисшими бело–желтыми огурцами–великанами из Украины к нам в лавку никаких продуктов в навигацию не завозили.

Подрастая, «гуляла ножками» по этому своему родному пространству — по Родине — в дождик летом. А зимой — в пургу. Летом по земляному «полу» барака бегали стайки мышей–полёвок. И мы с ними играли в прятки. Но зимой там, внизу, стоял лёд. А со льдом — как с ним играть? Потому, как все дети, болела по зимам лёгкими. И, как и они, не умерла — вот где пригодилось растирание снегом на Енисейском и Ангарском хиусе! А тут, — даже больным, даже с высокой температурой малышам, — бабушка Марфа делала массажики из медвежьего сала со снегом. А дед Николенька — «подзарядочку». Да с таким «жестоким» пересчётом всех позвонков, что хоть плачь, хоть хохочи! Но после которой мы только что не летали. Летом папа купал всех нас в ключе. Это было — и осталось навсегда в памяти — ничем не сравнимым наслаждением!

А спать укладывала меня только мама. Творила вместе со мною «Отче наш!». Потом нашу с нею тайную молитву Спасителю. И, — неизменно — каждый вечер перед уходом ко сну, — напоминала: «Ты, девочка моя, должна, ты обязана выжить! В тебе продолжаются и живут Великие Шведские и Русские Роды. В свой крови ты несёшь силу их и память о них. А они — ради вот этой вот твоей жизни — верно служили России и её православным государям. И теперь смотрят на тебя «Оттуда». Наблюдают за тобою. Верят в тебя. Надеются, что и ты понесёшь Дело их Святое дальше. И оно не умрёт. Никогда. Предки твои взывают к тебе, девочка моя!».

Я не понимала ещё, что такое «предки», «роды», «государи» и

«Россия» со «Швециею». Но со словами молитвы и со словами мамы входило в меня тепло осознания и ощущения принадлежности к некоей Высшей Силе, которая сильнее вечно орущих на маму пьяниц — «активистов». К некоей Запредельной Мощи, которая в один прекрасный день переборет их. И ощущение «долга». «Долг!». Вот, «Долг» — это я понимала! Долгом было «наварить кашки» себе — я умела «наварить» её в четыре годика. «Долг!» — это «просеять мучки», «перебрать ягодку», «почистить грибочков», — это уже для всех! В восемь лет доверялось мне готовить крахмал из картофеля, в девять — «навести щёлочи» из печной золы для стирки белья, — своё, нательное и платьица, стирала с пяти лет, — наварить патоки для сахара из свеклы.

О «долгах» своих вспоминаю в чуть более позднем времени. Уже возвратились домой на прииск наши мужчины, — папа с дядечками. И соседи из нашего этапа вернулись. На себе и на трёх сотнях лошадей притащили они две с половиною тысячи тонн огромных деталей электрической драги! Три года тащили. И притащили! А теперь одни, — с папою и дядей Ленардом во главе, — монтировали на Удерее саму драгу. Другие, — и в их числе дядя Володя, мальчик совсем, — строили локомобильную электростанцию, механические мастерские, конюшни, гараж, заправку — склад «ГСМ». Пошла настоящая долгожданная жизнь, занятая настоящим трудом! А ещё через четыре года, в конце 1938, — когда разрешили, и даже попросили нас, — построили себе настоящие рубленные дома! Из настоящего, из добротного леса!

Вот это и было началом счастливого перелома нашей жизни. Только не подумайте, что рассказывать о ней получится у меня связно. Не получится! Слишком много болезненных наслоений, которые по сейчас ноют. И «точек болевых», — ран тяжких душевных, — много очень, которые никогда не затянутся и не перестанут истязать… Потому примиритесь с сумбуром в моей исповеди.

Я прервалась на «переломе» жизни…

Начался–то перелом с чего?

Начался, по рассказам старших, с того, что по всей несчастной стране Сталин, повязав «старых» и молодых большевиков, приступил к их повсеместному отстрелу. И «воздух сразу стал чище». А убойная тяжесть ссылочного гнёта начала «отступать, пошла на убыль, и, будто растворилась». Родители мои, бабушка Марфа с дедушкою Николенькою, даже мальчишки наши — все ссыльные — почувствовали начало свободы уже после первых политических судебных процессов в Москве, а

потом и по всей стране. Хотя кое кто из наших же долдонил привычно, что, мол, открытые суды эти вовсе не открытые, а сфальсифицированные. Что «подсудимые» невменяемы. И что «судьи» с прокурорами известно кто…

Но папа «гнул» своё: — Пусть так. Но не важно, КАК ОНО сейчас происходит. Важно, ЧТО ПРОИСХОДИТ. И как МЫ ТУТ из–за этого себя чувствуем. Николай Николаевич помалкивал. Он вообще был молчуном. Но стал ещё молчаливее. И в самое это время, его — 85–и летнего старика! — дёрнули, неожиданно, с почётной должности конюха нашего конного дворе, в «столичную» школу района — на прииск Центральный преподавать в открывшихся там 8 – 9 классах географию, историю и немецкий язык.

И мама, погодя немного, сказала: — Интересно, где ещё в России в поселковой школе, — или, пусть, в столичном даже университете, — детям преподаёт такого уровня эрудит? — И сама ответила: — Да нигде! Вот и попробуй поспорь с вашим папою.

А тут на район, тоже неожиданно, «сел» Василий Иванович Зайцев, сын сосланного и умершего здесь, уже при нас, забайкальского казачьего есаула. Да не просто есаула, а есаула из бывшего царского конвоя! Только не последнего, в 1917 году предавшего императора и перекинувшегося к новой власти. А из прежнего, верно ему служившего… Зайцев окончил в Канске геолого–разведочный техникум, и направлен был к нам. Вообще, руководство сменилось во всём крае. И рядом — в Иркутской и Новосибирской областях. Вот это вот сразу почувствовала каторжная Удерея. И с нею вся — из под палки работная — Россия, пережившая Чудовищный большевистский террор 20–х — самого начала 30–х годов. Конечно, сразу почуяла перемены — припоздав только — и вся комиссарская и большевистская плесень, что постельными вшами припеваючи жила на теле народа все эти страшные для России годы, и на которую пал теперь, наконец, долгожданный Гнев Господен!

И вот, у нас праздник! Насовсем вернувшиеся мужчины включили локомобильную электростанцию. Запустили драгу. И, кто хотел, — кому нравилось, — или кто не научился ещё пока мастеровать всерьёз, пошли вместо наших женщин на рубку леса…

Но зачем? Чтобы снова — и до конца жизни — валить и кряжевать лес? Складывать его в те же «экономические» поленницы и сжигать их… «для золота»?! Для того самого, за которое уже обречённая комиссарщина, — не догадываясь, или не веря ещё, что уже приговорена, что уже на конвейере в

расстрельные подвалы, — всё ещё, как прежде, в годы захвата власти и Большого Террора, «покупает заграницею для себя и для своих любовниц невиданные в России яства, тряпки и драгоценности»? И пока отгораживается тюрьмами, ссылкой и бессудными казнями россиян от организуемого ею повсеместно повального голода и людоедства?

Про это, ещё совсем маленькой, но уже научившейся понимать читаемое мамой и мною самой, узнала из книг «Среди красных вождей» и «Ленин и его семья (Ульяновы)», написанных бывшим ленинским сподвижником Георгием Александровичем Исецким. Тоже, как и они, дворянином и революционером. И из «Голгофы России» Коровина. Тоже дворянина и большевика. Из замечательных книг, изданных — первые — в Париже 20–х. А последняя — в Берлине 1934 года. И Бог весть как оказавшихся… под маминой подушкою.

Ну, не совсем так… И Его помянула я зря. У мамы оказывались книги из «полевых» библиотек вольных геологов. Я уже говорила — питерских, в основном. Значит, «остро чувствующих» несправедливость из–за, хотя бы, низведения бывшей имперской столицы до «уровня» заштатного областного центра. И «гостеприимства» их в Мотыгино она им не припоминала. Щадила.

Чад их, и их самих, учила она родным своим языкам — французскому, немецкому и латыни… Но даже если бы они платили ей за труд только книгами «на ночь», она была бы счастлива. Книги — вправду — светом были в её окне!

«Магию больших чисел» начала я постигать тоже рано. Однако, взрослея, и привыкая попутно к цифрам, но, ни коим образом, не к продолжавшейся практике непрестанных крестьянских и дворянских потерь, — хотя бы у нас, в районе, — я, естественно, потери «не дворянские» и «не крестьянские» в расчёт не принимала. Не без помощи режима «красных комиссаров» я твёрдо, раз и навсегда, уяснила, что МЫ, — «КУЛАКИ», а значит истинные и классические КРЕСТЬЯНЕ — КОРМИЛЬЦЫ НАРОДА РУССКОГО, и РУССКИЕ ДВОРЯНЕ — ИНТЕЛЛИГЕНТЫ, — являемся «злейшими врагами советского народа»! Это открытие привело меня к догадке, что тогда, — само собою, — и «советский народ есть злейший враг крестьянства и дворянства России!». Злейший враг добиваемых окончательно самых главных и самых важных российских сословий! Тем самым, смертельный враг россиян и потому лично мой враг!

И, когда этого «злейшего моего врага» — «советский народ», — сперва малыми партиями «вредителей и диверсантов», потом колоннами «троцкистов–зиновьевцев», и, наконец, «армиями

врагов народа», — начали по подвалам кончать, я возликовала и возблагодарила Господа! Ведь это Он, — Создатель, спасающий и сохраняющий нас, — наказывает смертью наших палачей. Тех, кто ограбил нас. Кто угнал нас невесть куда, убивая по пути. И здесь издевался над нами, жируя десятилетие на нашей крови. Тем боле, что ни в какое сравнение число расстреливаемых теперь, — когда возмездие грянуло, наконец, — не шло — и не могло идти — с количеством до сегодня всё ещё убиваемых этими шакалами русских мужиков, интеллигентов и дворян.

…Я вот рассказываю такие страшные вещи, что — чувствую — Вы, Эйширо, — нормальный человек, — не верите мне!… Верите, говорите… А я не верю, что Вы верите, настолько всё, что в России с её народом произошло, чудовищно! Чтобы на самом деле поверить мне, Вам сперва нужно осознать грандиозность зла, сотворённого большевистским режимом на протяжении более семидесяти лет измывательства его над Россиею. Его власть обошлась нам в сто миллионов жизней, которые она прервала казнями и произволом убийц. Подумайте!… Нет! Вы только подумайте, дорогой нам человек: лишь только в так называемые «мирные» годы погибло столько, сколько составляло население Империи без Финляндии и Польши в начале XX века!

И когда убийц казнили я ликовала!

Да, я ликовала! И, помня наизусть и постоянно повторяя в молитвах своих детских Божественные Заповеди, я, — по малолетству ли, или из–за накопившейся и переполнявшей сердце моё неподъёмной ненависти к гонителям любимых моих, — знать не хотела одну из них — «Не убий!» относительно самих убийц! Во всяком случае, «другую щёку» подставлять им намерена не была! Отнюдь. И всё молилась и молилась, чтобы «кончали всех, всех, всех, кто убил моих стариков, братиков моих! Всех, кто заставил маму родить меня на ледяном ветру в дырявом телячьем вагоне! А папу и дедушку Коленьку — в тот же с ног валящий всё живое енисейский «сивер» нести меня, — полу живого младенца, — в сгнивших тряпках сотни вёрст по льду и морозу!

Всех, кто пытался уничтожить нас или превратить в рабов!

Тогда я ещё не знала, что существует — и вечно будет существовать — Закон Возмездия. И до того места в Книге Книг, верно, не дочитала ещё с мамою, что Великий Мудрец и Царь Иудейский Соломон приговорил на веки вечные: «Утопивший утоплен будет!». Да, об этой Притче я ещё не знала тогда. Но верила, что теперь «топят именно топивших»!

К 22 июня 1941 года я, — десятилетняя девочка, Маугли, по существу, — поняла и понесла в себе осознание всей меры зла, причинённого большевиками моим сословиям. И потому с Неба

будто свалившееся Германское нападение, а потом и нашествие, восприняла пусть и не как начало освобождения народов России от красной комиссарщины, но, безусловно, как акт Главного Божественного Возмездия палачам. И если бедное сердечко моё не разрывалось от счастья, то потому только, что загонял–то в «котлы» и казнил моих палачей вовсе не любимый мамин Святой Михаил Архангел. И даже не дедушки Николеньки Святой Георгий Победоносец. Но немцы. Германцы. И, пусть люди хорошие — папа–то мой, мой любимый отец, — он тоже немцем был, пусть русским — не германским! Но — всё равно — НЕМЦЫ! Те самые, с которыми бились в Первую мировую войну все 34 полегших на ней дядей моих и братьев деда моего Мартына Владимировича и дедушки Николая Николаевича — Адлербергов. Моего Дворянского Рода офицеров и генералов Гвардии. Русских интеллигентов, создавших и несчётно лет хранивших мою Россию со времён — это я уже знала — Куликовскоё Битвы!

С первых дней войны мужское население района ушло на фронт. Не взяли только наших — ссыльных — мужчин. «Передайте им: пусть они не торопятся под немецкие танки! Родина всех их ещё востребует!», сказал, прощаясь с Николаем Николаевичем и с родителями моими Василий Иванович Зайцев, отъезжая в армию. К тому времени начали приходить «похоронки». Появились первые калеки… И люди кругом заговорили о гигантских «котлах» и несметных полчищах наших пленных, томящихся в немецких лагерях. А потом… Потом дядя мой Володя смастерил детекторный радио приёмник. И, в разгар войны узнавали мы такое, что только пол века спустя стало известно «советским людям» — цена войны, за которой — за ценою этой — «страна советов», да и Россия старая (как оказалось!) никогда не стояли. И мы поняли, что «не стояние за ценою» было ещё одним способом, — не менее эффективным, чем этапы и расстрелы, — покончить, наконец, с крестьянством и с тою же интеллигенцией, пусть не только дворянской. А дедушка Николенька, наш молчун, произнёс не очень понятную мне тогда фразу: «Они уничтожают генетический фонд России. Русский генетический фонд! Сперва пытались сдержать наступавшего немца валами трупов русских солдат. Теперь выдавливают его горами их тел…». Чуть позже я дедушки Николеньки слова поняла. И первый раз в сознательной жизни плакала. Плакала, как плачут дети — не от жалости к себе, нет, — от обиды. За «горы тел» наших солдат — крестьян. От жалости плакала я через десять лет, когда сжигали тело Вашего Ясиро…

А вот теперь… — от жалости к себе…? Не знаю… Простите меня…

Вот только жалеть меня не надо!… Не нужно меня жалеть… Даже ту, маленькую. Подростка. Попытайтесь лишь только представить девочку десяти лет. Ребёнка ещё. Но уже повидавшего всё, что повидала я, и пережившего всё, что я пережила. Представить попытайтесь, как в бедной голове моей, сцепившись, сражаются на смерть Демоны Обиды, Унижения, Ненависти, Отмщения и… Мучительной Любви к тому, что именуется родиной — пусть даже это щелявая теплушка этапного эшелона, или Прекрасный Лик — не проводницы поезда — нет, но Мадонны, Матери Божьей, накормившей меня, гибнувшую на станции «Красноярск–товарный» своим молоком… Демоны Любви к моему несчастному народу, — о котором постоянно напоминали мне мама, бабушка Марфа и Николай Николаевич, — после массовых уничтожений большевистским режимом окончательно полегшему по воле наших военных преступников под снарядами и гусеницами немецких танков. А ведь я ещё не знала тогда — ещё не могла знать — ни о сталинских каннибальских приказах о тотальном сожжении русских сёл и городов по всему фронту отступавшей красной армии (№ 0428 от 17 ноября 1941 г., ЦАМО, Ф.3, оп. 11556, д.5, л,51. В. Д.). О его приказах по снесению артиллерийским огнём и авиа ударами «освобождаемых» той же армией российских городов! (№ 170007 от 11 января 1942 г., ЦАМО, Ф.3, оп. 11556, д.6, л.20, В. Д.). О приказе Берии и Жукова от 22 июня 1944 года (№ 0078/42, В. Д.), поставившем крест над самим понятием «великой» и «отечественной», и приведшем к отделению Украины.

Многого тогда я ещё не знала.

…На шестом году жизни на нарах — оставшимся в живых и не сошедшим с ума ссыльным — разрешено было ставить избы. Папа с братьями, — мужицкой косточкою, подраставшими на вольном воздухе и на таёжных харчах богатырями, — срубили великолепный дом! Дома поставили себе и все другие ссыльные семьи. Это счастье пришлось на 1937 год, провозвещенный хватаемыми повсеместно и потому «несчастными» палачами годом «большого террора!». На самом деле, Большой Террор прошел много раньше, — в 1918 – 1934 годах, когда хватаемые теперь большевики истребляли десятки миллионов русских крестьян, русский офицерский корпус, русскую интеллигенцию, православных священнослужителей, нас — русских дворян. Когда ОНИ казнили Россию. Лишь только когда взялись за них самих, они и заблажили о «большом терроре». Потому новоселья свои народ ссылки отпраздновал весело. Всем нам было не до наших расстреливаемых палачей. Как им до нас недавно ещё, которых истязали они и уничтожали.

Шло утопление утопивших!

Конечно, в эйфории счастья от осознания величия Соломоновой Притчи, пришедшегося на время моего раннего детства, я представить не могла, что вместе с палачами могут казнить невиновных. Тем более, что даже мой любимый поэт, — стихи которого не раз прежде тоже читала мама, а потом и сама я, — написал и опубликовал в дошедшей и до нас старой, правда, газете, такие вот проникновенные… для — «выстрадавшего в траншеях (?!) сталинского сердца» даже, «достающие», строки:

«… На бойню гнать бы вас с верёвками на шеях,
Чтоб вас орлиный взор с презреньем провожал
Того, кто Родину, как сердце, выстрадал в траншеях.
Того, кто Родиной в сердцах народов стал…»

(«Известия»,29.01.1937;процесс над Ю. Г. Пятаковым, Г. Я. Сокольниковым (Брильянтом), К. Б. Радеком (Собольсоном), Л. П. Серебряковым (Эсбе), Я. И. Лифшицем, Я. Н. Дробнисом и др., ещё не осуждёнными, вина которых не доказана!, В. Д.).

Только много позднее дошло до меня осознание величайшей подлости и воинствующей… бездарности этого представителя захватившей в 20–х годах в плен русскую культуру банды кальсонеров во главе с шурином Ягоды «пролетарием» Авербахом. К нам пригоняли новых ссыльных из столиц. И мы от них узнавали и о таких вот швондерах от «культуры». Позднее и сними покончили. А тогда я вновь — и от чистого детского сердца — ликовала: — ведь не просто «… На бойню!», — но — «С верёвками на шеях!» палачей наших! Так их! — И не сразу поняла короткую, брошенную одним из наших гостей, реплику: «…Вот ведь как! Своих!… В газете даже. Не осуждённых ещё… Ну и Иуда!»… И — приговором — «Одно слово: жид!».

Тогда было всё это для озлобленного их безусловным злодейством детского моего сердца слишком сложным. Потому не знаю, — и, слава Богу, что не знаю, — что сталось бы с раненой психикой моей, но именно в том же 1937 году детям ссыльных разрешено было учиться! Правда, только ещё 4 года начальной школы. Между прочим, именно потому, — в отместку, говорили, — Гитлер и разрешил в 1941 только четырёх годичное — тоже пока — обучение в школах оккупированных им российских провинций. А слово «жид» мне потом разъяснил Бен — ни дома, ни в школе, ни даже в Красноярске я его не слышала.

И вот, маленькая школа на нашем прииске, в начале 1935 года названном убийцами в честь убитого ими убийцы «Кировским». Построили её папа, дядечки мои, и мужчины из поселенцев. Она — всего–то в четыре комнатки–класса на весь небольшой ссылочный интернационал. Но не фальшивый,

троцкистский, для вселенского разбоя. А настоящий. Из таких, как я — из русских, из немцев, из украинцев, из финнов, из латышей и из греков даже…

Больше полвека прошло! Но со всеми, кто жив ещё, кто остался в России или живёт в Европе, в Америке, в Австралии, — братство до смертного часа!

Школа была — нет, не просто «свет в окне». Она была Самим Светом. В ней напрочь отсутствовала политика. Дети ссыльных не должны были знать историю коммунистической партии. Большевистского обществоведения. В классах не могли висеть портреты большевистских вождей. Главное, духа пионеро–комсомольского и на дух не было! Так чем же тогда она была — наша первая приисковая школа? Да «обыкновенным»… Царскосельским лицеем. Когда в столицах страны освобождались от социально опасных граждан — потенциальных врагов народа, к нам, в нашу школу, пришла учительская плеяда, аналогов которой я потом нигде в мире не увидела. Ни в Оксфордском, тем более, ни в американском Гарварде. Ни в Кембридже. Ни даже в хвалёном–перехваленном Беном Йельском, — еврейском, как он старался убедить меня во время наших визитов туда, — университете в Нью—Хевен! Американская школа, с которой мы имели возможность знакомиться много лет кряду, — а Бен, обнаглев совершенно, разразился даже в московской педагогической (!) печати и в литературных журналах сериалами о воспитании школьников в США, — эта школа не стоит ничего в сравнении с моей приисковой. Судите сами.

… Вот бредёт по улочке прииска маленький круглый человечек. На нём старый — престарый, латаный — перелатаный, но до «блеска» вычищенный… комбинезон, в котором разместился бы десяток таких, как он. На ногах у него чинёные — перечинённые арестантские коты. На голове треух — сменка, — на пересылке в «Крестах» заменённая братвою на добротную, говорил, из тюленя. Профессорскую. Идёт — торопится: его урок математики первый. Несёт две огромные авоськи. Сетки оттянуты… массой склеенных им ночью, к занятиям, тетраэдрами — октаэдрами… Чем только ни заполнены авоськи! Дети встречают его загодя, посреди посёлочка. Забирают сетки. Он ими любим до восторга. До слёз. До желания за руку цапнуть зубами!

Это Эсбе Фридрих Густавович. Бывший зав кафедрой математики Высшего флотского военно–инженерного училища. Профессор. Доктор наук. Член–корреспондент АН СССР. Почётный бессмертный десятка Академий мира. По его учебникам грызли гранит науки инженеры флотов тоже десятков стран. Герой Порт—Артура. Где мичманом служил командором

на эсминцах, выходивших драться с японцами. Кавалер «Георгия» 4–й степени, какие были у государя императора и свитского генерала Маннергейма. В Первую мировую адмирал, после дядьки своего Николая Оттовича Эссена, самый молодой в России.

Замели «немца» в августе 1941. Близкие угнаны в Казахстан. И вся оставшаяся жизнь его здесь теперь. На прииске. В домике школы. С нами, «детьми» его.

Вот кончает ночную смену, ворочая стволы лиственницы на баланы для котельной, Мишель Гирш. Старый румынский еврей. Жизнь прожил в Париже. Бывший профессор химии Сорбонны, член всяческих громких обществ! Делал блестящие успехи в искусстве прикладного парфюмэ, отмеченные международными наградами и, — во множестве — да и достойно — статьями–панегириками в специальных журналах. Ошмётки их чудом сохранились за десятилетие камер, этапов и зон трубкою засунутыми в дыряый сидор. Нас учит даром — в четырёхлетке химия не положена, и штатной единицы химика нет.

Эрих Карлович Бухгольц. Бывший профессор анатомии МОЛМИ. Заведовавший Пат. анатомией в Главном, Бауманском, морге Москвы. Учитель Абрикосова — «Зав Смертью СССР»! Немец. Потому фельдшерствует на прииске за четверть ставки. И тоже даром учит нас незаконной биологии и функциональной анатомии.

Берг Адольф Оттович. Бывший профессор Академии моторизации–механизации армии — заведовавший кафедрой физической химии. Учитель маршала артиллерии Ротмистрова. Член корр. АН СССР. В Московском доме пионеров на Стопани вёл школу прикладной физики и химии. Немец. А потому — всем вам, пионерам Москвы — Фиг вам…! И учит нас тоже не законным пока физике и астрономии. Режим большевиков востребовал его — 67–и летнего — на рубку сучков. От того и развалился. Но Адольф Оттович хочет, чтобы дети ссыльных «имели представление о естественных науках». А уж если немец чего–то захочет…

Не бесконечно, конечно, могла бы перечислить ещё не менее достойных учителей, что украсили бы любой университет планеты. А что?! Представьте неполную среднюю школу — по первости; и только потом, позднее, по мере отстрела комиссарствовавших палачей, восьмилетку учеников, эдак, на 50 – 60, — где учат детей 11 профессоров, докторов и Членов корреспондентов! И даже один полный генерал — он же генерал Свиты покойного государя императора, и он же внук Прусского короля Вильгельма 3–го — мой дедушка Николенька, граф

Николай Николаевич, по его просьбе переведенный из Центральнинской школы заведующим нашей Кировской.

Кембридж!

Но я — о самых скромных. Скромных регалиями. Но великих знаниями.

Иван Озерович Аллур—Дос. Московский грек. Всех их — и отовсюду — тоже угнали «на восток». Бывший профессор кафедры древних языков Московского университета. Учил нас «мёртвому» греческому. С ним мы — дети в сущности — прочли в подлинниках Школу Великих. И когда вечность спустя спросили меня в библиотеке Колумбийского университета где, в каком таком учебном заведении научили меня такому(!) прочтению Сократа… Бену пришлось при помощи фолианта «Атласа мира» показывать «примерно… здесь где–то», тыча карандашом в не ту, по моему, точку карты Красноярского края, на которой сроду Кировска нашего не было. А были указаны три других посёлка, которых на самом деле не существовало уже века полтора.

Вяза Павлович Аннонен. Питерский финн. Бывший заведующий кафедрой Герцена и лектория Эрмитажа. Друг старика Пиотровского. Потомок Башлыка—Карьялайнена, учителя русской словесности императора Николая 1–го. Пушкинист. Любимый мой учитель литературы.

Или вот отец Арминий — Иван Николаевич Тихомирнов в миру. Бывший преподаватель латыни в Синоидальном училище Московской епархии. Епископ. Это он посоветовал папе и Тычкину «определить» меня в Фармацевтическую школу : «Лучше неё латынь там никто знать не будет. Это уж вы мне поверьте».

О маме не говорю — она мама и языки вела.

Ну а жизнь? С жизнью как?, могут спросить. Так я уже оценила её счастливой. А иначе как, если росла я вдали от душащего жизнь смрада «цивилизации». В благодатной тиши бескрайней тайги, тогда ещё стерильно чистой. У хрустальных рек и ледяных ключей небесной прозрачности. Внутри зарослей малинника и смородины, никогда и никем не обираемых. Под сенью битком набитого несметными богатствами природы — редчайшими в городах деликатесами, в том числе — девственного леса, только–только, — и то лишь у самых опушек, если подходили к ним редкие прииска, — начинавшего падать под топорами заготовителей. О природе родных мне мест много писал Бен. Прикажите найти в Ваших библиотеках журналы «Наука и жизнь» шестидесятых — восьмидесятых годов… Мы привезли Вам последний рассказ «Волчина» — апрельский, за 1990 год.

Загнав нас когда–то в пучину таёжного океана, гонители

наши и палачи — по дремучести своей — уверовали в нашу ТАМ скорую гибель. Но мы выжили. А они сгинули в собственной преисподней. . Потому не нужно нам сочувствовать. Лучше понять: прекрасней нашей жизни в Сибири не будет уже нигде на грешной Земле. Нигде и никогда! И ни для кого. Подлинную жизнь там заменит эрзац её, паллиатив, муляж, в насмешку именуемый нынче прогрессом…

Уехали мы из Сибири насовсем на стыке 1954 с 55 годом. Наезжали туда к родным часто сперва. И уже тогда, в шестидесятые, видели, что творят безродные наследники швондеров с «не их землей». Как губят её гигантскими «гидроузлами» без шлюзов для судов и для свободной миграции и нагула главного дарового богатства России — рыбы. И для чего, спрашивается? Да чтобы «ящики» в Красноярске и Дивногорске переводили Эвересты энергии этих гидро монстров в оружейный плутоний для термоядерных «изделий». И те грозились бы Апокалипсисом возмездия тем нашим лютым врагам, которые, при случае, вновь сбегутся в ту же самую Беловежскую пущу. И там подмахнут новую бумагу. Теперь уже о ликвидации самой России. И вот тогда вот оно — возмездие — и настигнет их, вражин, как Ельцына с товарищи в декабре 1941.

И уничтожение Земли Русской оправдано будет!

А если подумать… кому она — хотя бы только земля Сибири — вскорости нужна будет, если за пол века после того, как мы уехали оттуда, те же «ящики» на Енисее позасрали ядерными отходами добрых две трети одной только Восточной Сибири. А их дочерние, флотские, — весь как есть Дальний Восток!

Русские сломя голову бегут оттуда — там уже сама земля убивает! И «надежда» теперь лишь только на соседей наших многочисленных, радиации не боящихся. Говорят даже, она их — как пасюков — «не берёт! И стремительно, явочным порядком, «осваивающих» сдающуюся им «на аккорд» — как когда–то крепости Балтии царю Петру во главе потешных — нашу землю. Бывший Рай. Рай — он ведь не обязательно библейский Эдем с фото- и телегеничной тропической пышнотелой флорою. Книга Книг писалась, когда мир был — до горизонта. И ничего, кроме жалкого этого «пятачка» меловой тверди земной авторы её не видели и представить не могли.

Поглядели бы они на нашу тайгу! Бывшую теперь. Тогда и раскрылся бы им Эдем истинный. Не игрушечный. с жалкими, вроде Иордана, не чистыми ручьями, где «Девчата ноги мыли, а ребята воду пили!». И славным «морем» Тиверiадским с его, — в доброе, с дождями, время, — полусотней метров «глыби». А двенадцати километровая ширь кристально прозрачной Ангары у

Мотыгино. Или сорока километровый — по ширине — распах полутора километровой впадины пятисот километрового Байкала, озера чистоты вовсе немыслимой, на поверхности которого — от Байкальска до Нижне Ангарска — уместились бы, по меньшей мере, три моих теперь маленьких Израиля, а в чаше — весь как есть Ближний Восток со всем ворохом его — а теперь и наших — проблем…

…Нет! Не злорадствую я… И не переживаю ностальгии, хотя живу уже не в России а в Израиле.

Просто не забываю, что всё это моё. Кровное. Выстраданное. Завещанное предками, которые жизни свои положили, чтобы и я с моими детьми и внуками, с Беном моим, могли в том раю жить счастливо и украшать его, передавая потомкам. Не получилось. Лет за тринадцать до рождения моего «…пришел — как в еврейском анекдоте — Рабинович и всё опошлил…».

Воистину, нет пророка в отечестве…

Иначе прислушалось бы оно сердцами миллионов насельников его хотя бы к воплю души известного, казалось бы, всем русского человека — Сергея Тимофеевича Аксакова, — Великого Поэта, Радетеля Земли Русской и любимого писателя и философа моего. К его — один к одному — сбывшемуся страшному пророчеству:

«…Обильный край, благословенный!
Хранилище земных богатств!
Не вечно будешь ты, забвенный,
Служить для пастырей и паств!
И люди набегут толпами,
Твоё приволье полюбя…
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!…
Сомнут луга, порубят лес,
Взмутят и воды — лик небес!
И горы соляных кристаллов
По тузлукам твоим найдут;
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут;
И тук земли неистощённой
Всосут чужие семена;
Чужие снимут племена
Их плод, сторицей возвращённый;
И в глубь лесов, и в даль степей
Разгонят дорогих зверей!…»

… И не важно, что Аксаков имел в виду подмосковье. Важно, что сегодня и от далёкой и когда–то богатейшей Сибири, от

самой России ничего ровным счётом не осталось…

Вы можете подумать, Ясуо–сан: а не потому ли мы с Беном в Израиле?

Да нет, конечно. Совсем не потому. Сами мы Россию никогда бы не оставили. Слишком много души вложили мы в неё «…во глубине сибирских руд…». Ещё больше, и куда щедрее, одаряла она нас самих. Претензий, жалоб, предъявить к ней мы не можем. В России оба мы прожили жизнь. Жизнь, состоявшую из двух несопоставимых частей. Первая из них, — со страшными — с пяти лет! — семью годами тюремного «детского» дома–вивария профессорши Лины Соломоновны Штерн, — обошлась Бену почти двадцатью двумя годами неволи. Мне — с рождения — двадцатью четырьмя. Вторая… О! О ней бы песни слагать! Но потом, потом, как ни будь. Но я — не о ней. И прозою.

…Вечером 21 декабря 1990 года по «Радио России» Бен рассказал о «Бакинском этапе» 1943 года, где в нефтеналивных баржах на Волге насмерть замучены были сто десять тысяч заключённых — армейских штрафников, отстоявших Сталинград. Тотчас по окончании шедшей в открытом эфире полутора часовой(!) передачи, целью которой было раскрытие чуть менее полувека тщательно скрываемого от общественности беспримерного преступления и обнародование имён преступников, Бену «предложено было убраться из СССР». Живы были, процветали и функционировали в «силовых структурах» члены семейки, глава которой и близкие родичи расстреляны были в 1944 году за организацию этого, вообще–то, беспримерного, преступления.

О том, что угроза серьёзна, поняли мы ещё двадцатью днями прежде, узнав, что в ночь на 30 ноября зверски был убит инициатор моего выступления Иван Павлович Алексахин, помощник Хрущёва в 30–х гг в Москве, колымский зэк 1936–1956гг., заместитель Шверника по Центральной реабилитационной комиссии ЦК 1955–1969гг. И мой товарищ по ГУЛАГу.

И тогда я, — именно я, изо всех мест на планете, где сорок лет кряду гостили и даже по долгу жили с Беном у родичей, и куда были уже приглашаемы, — выбрала, «не глядя», Иерусалим. Некогда место постоянных и счастливых паломничеств предков моих, о чём написаны ими замечательные книги. Земля неосуществлённой мечты покойницы мамы, но средоточия всех горячих молитв её с Голгофы ссылки. Святая Земля, где в раке храма Марии Магдалины на Масличной горе покоится прах, — или, пусть, мощи, — подруги бабушек моих и крестной матери мамы. Святыня её, около которой она когда–то наказала мне —

девочке ещё на нарах барака — жить и благодарить в молитвах Создателя за спасение нашей России….

А Бену сам Бог велел совершить восхождение в Ерусалим!

Потому мы начали третью нашу жизнь. Теперь уже на Святой Земле. За те, прежние… обидно, наверно. Но, вновь Аксаков:

«…Есть, однако, примиритель
Вечно юный и живой,
Чудотворец и целитель, —
Ухожу к нему порой.
Ухожу я в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов,
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И — в свои младые годы…»
К тому, что было когда–то там…
К папе.

…Папа — драгёр. Управляет гигантским плавучим конгломератом из огромной Землечерпалки и Обогатительной фабрики, смонтированных на понтоне. Сотня полутора кубовых ковшей конвейером выгребает с 18–и метровой глубины забоя золотоносный грунт. Он сбрасывается в барабаны обогатительной фабрики. Промывается. И освобождённое золото собирается в «кассу» лаборатории. Всё, вроде, просто. Тем более, этой многосложной громадиной манипулирует из «фонаря» зала управления всего один человек — всё тот же мой папа. Здорово! Только оторопь берёт по сей день, когда вспомнишь, как двенадцать часов смены на ногах — так удобней регулировать работу ковшей в глубине забоя — перебирает он на пятидесяти градусном морозе ледяные металлические рукояти рычагов…

А до рычагов этих добираться по темну тропами горной тайги — всё на том же морозе — полтора–два часа в одну сторону. Зимою на лыжах. Летом ногами. Брат его, Ленард, с ним. Он механик драги. По дороге добывает в озерках уток, а осенью — на перелётах — гуся к столу.

Быт.

Ранней весной нужно заготовить для печей в двух домах, в стайках, — хлевах, — и в теплицах до 90 кубометров леса. Крестьяне, они крестьянствуют и в тайге. Работают для семьи кормёжку.

Потому, о самом главном в ссылочной нашей жизни.

Режим большевиков не просто оторвал нас от крестьянства и хозяйства. И тем лишил нас права нормально существовать и

исполнять наше Божественное Предназначение — кормить народ. Страну. Он указом от 3 января 1925 года запретил ссыльным «занимать государственные земли под пашню и огороды». И под страхом «каторжных работ»(!) пресёк «попытки держать скот и птицу, используя для этого государственный семенной фонд(!) и продукцию сельхоз производства».

Ссыльным, вкалывавшим на самых тяжелых работах в режиме рабства, и лишенных права даже на хлебные карточки, предлагалось существовать на подножном корму. Слава Богу, белоручками мы не были. О папе что говорить — он мужик. Все бы мужчины такими были! Но и мама — воспитанница Смольного института — не только умела работать, но работать любила, с младенчества обученная понятию «надо»! В этом элитарном заведении девочек из «не трудовых» семей умело и целенаправленно обучали не только этикету, танцам и языкам. Их учили быть рачительными хозяйками и умению любую посильную работу хорошо делать самим, чтобы учить потом тех, кто будет её исполнять. Учили жизни. И мама, русская столбовая дворянка, графиня, оказавшись в беде, не растерялась. Не опустила рук, поняв, что, действительно, тайга — она труженика прокормит. Вначале только страшно…

Потому с первых же дней жизни в Удерее подраставшие дядьки мои занялись лесным промыслом. Сперва это была черемша, которую весной — первой — добывали они прямо из–под снега. Мама делала из неё бальзамы и мази. Солила слоями, перекладывая их речной галечкою — пригружала, чтобы не вспучивалась. Но, главное, наворачивали её до одурения! Мне, вовсе двух месячной или даже месячной ещё крохе, губки и язычок мазали соком черемши. Животворная, — хотя и очень уж, поначалу — но только лишь поначалу — вонЬливая, — эта «травка» — помесь чеснока с таёжным луком — стала нашей главной пищей и первой приправою первого года ссылки. Черемша спасала нас от постоянного чувства голода и от всех возможных болезней, которыми заболевают голодом же ослабленные. Она была панацеею от цинги, от воспаления лёгких и даже от пеллагры, — только не мнимой, а настоящей, всеисцеляющей, — когда страшные хвори эти безжалостно косили выживших в страшном этапе….

Вкус черемши до сегодня восхитителен!

А тут грибы начинаются!

Сперва сморчки по проталинам весенним — под снегом, где уже вешняя вода. После них, недели через две–три, маслята, потом подберёзовики, сыроежки, и уже груздочки завязываются. За ними подосиновики, и тут как раз наливной груздь появляется

— чёрный и сивенький, не белый, нет — сивенький! Князюшко таёжный! И боровик — Царь грибов! «Белый»! Вместе с груздями несколько первых лет заменял он нам хлеб. А потом все годы самой главной и самой вкусной приправой был к еде. Ну и закуской.

За боровиком — любимые мои лисички и шампиньоны. А к осени, — опята, рыжики… Чудо! Истинное чудо. Всё ж таки, Господь берёг заблудших в Лесах Его или насильно туда загнанных, и уготовил им пищу тоже божественную… У нас недалеко, — дня два — три ходу летом, или чуть поменьше зимою, на лыжах, — из–за высоченных увалов и крутых долгих подъёмов, — древний, в урманах, скит. В нём, — я ребёнком была, — монахи жили. Беглецы с каторги. С царской ещё. Так они одними только грибами жили и мёдом из бортов — от пчёл диких. Старики старые–престарые. А здоровы были — все четверо — как лоси…

Ну а всё это грибное богатство солилось, мариновалось. И, без остатка, уплеталось за обе щёки прожорливой нашей оравой.

С началом лета — где–то в середине, или во второй половине июня — прозрачным сперва и во истину животворящим соком наливаться начинала лесная ягода! И будто кровью заливало долины бесчисленных ручьёв и речушек, когда поспевала непроходимыми зарослями красная смородина — кислица, по местному. И подлесок, будто в волшебной сказке, покрывался оранжево кумачовым туманом — сплошной ягодою! Собирали её сперва пальцами — не терпелось очень сорвать и съесть поскорее эту прелестную свежесть! Но нас быстро научили строить совки из тонких ивовых прутьев, а потом и с жестким толстым, — из «рояльной» проволоки — захватом. Пару десятков движений таким совком — «комбайном» — и ведро наполнено! Тайга глуха. Безлюдна. В округе с сотню квадратных вёрст кроме нас, жителей маленького посёлка, брать гриб и ягоду не кому. И кислица, простояв положенное ей время, опадает. И только опадёт — сейчас же, вместо неё, — и на том же самом месте, — в поймах тех же речушек и ручьёв вырастает новая ягода, сестрица кислицы — тоже смородина, но «чёрная». Из–за неё тайга по низу покрывается теперь уже фиолетово–синим «туманом»! И ещё сильнее светлеет, когда недели через две, — до отвала накормив боровую птицу, мелкую таёжную живность и медведя, — и эта ягода опадает, простояв свой урочный срок…

Сахар у нас свой: в глухих ложках и овражках, спрятанных в ближних чащобах и не дальних урманах, сажаем тайно, а осенью собираем тихо, урожай сахарной свеклы, удивительно как, но вырастающей у нас — именно, у нас — на замшелом гумусе, под слоем которого прячется «страшная» напасть — вечная мерзлота. Местные, соседи, — с кем судьба заставила подружиться и кто, потому, посвящён, — удивляются. Им начальство долдонит постоянно, что на ней, на мерзлоте, ничего расти не может, потому как не может никогда! Они «верят» грустным этим байкам, но не без удовольствия. Потому как рук прикладывать «в таком разе» не надо. И пьют себе. Благо спирт в лавке не выводится. А закуска — она в тайге вольно растет или бегает.

И вот, у нас, — у кулаков, у «врагов трудового народа» немцев, которых новые друзья наши недавно ещё — голодных — палками на лесосеку гоняли, — на огородах и плантациях секретных, рядом с домом почти что, из–под снега весной появляются дружно стрелки и соцветия озимых овощей. А у них, у «народа трудового», вкруг изб, — когда тот же снег сходит, — плотная — от завалинок до опушек — щетина бутылок из под спирта и бормотухи. Долгой зимою выкидывают их — по

опорожнении — одну за одной в окошки — «кто дальше!».

Сахар привозят в посёлок осенью. После навигации. И раз в квартал по карточкам распределяют. Среди вольных, конечно, — по пять фунтов на семью. Нам сахар не положен — мы ссыльные, и женщина наша — мама — саботажница: норму не даёт. Но у нас сахар свой. Самодельный. Мы варим варенья и мармелады. Кладём морозить на наледь под мхи засахаренные бруснику, морошку и сибирский виноград — голубику. И угощаем соседей, которые верят в советскую власть, как Отче Наш повторяют, что «ничего на мерзлоте вырасти не должно», но нас не выдают. Тюремная «этика» — она и им не чужая: кого ни копни — потомок каторжника или ссыльного…

А нам в советскую власть, которая спит и видит, как нас извести, верить не сподручно. Мы уверенны, что «и на мерзлоте всё растёт!». А между делом готовим настойки из Богоданного чабреца, из зверобоя, из золотого корня — Радиолы Розовой — нашего Женьшеня. Да чего только ни заготавливаем! Семья–то большая. Новые работники или подрастают, или уже выросли. Живы и здоровы, слава Богу, наши старики, которых, — как и нас, детей, — должно и побаловать чем–то вкусным и питательным… Для этого — опять же ночами — выходим на «золотой» промысел: ищем повсюду, в особенности, у таёжных опушек, где днём ходит и пасётся скот, коровьи «лепёшки» — назём. Затариваем их в лубяные мешки — ведер первое время у нас тоже не было. Не продавали, А если бы и были они в поселковой лавке, всё равно купить не на что. И вот в «лубянках» разносим назём по нашим тайным «плантациям». И там раскладываем его, под тоненьким слоем гумуса, по верх мёрзлой земли. И — «чудо» свершается! Все растёт. А советская власть всё долдонит, что не растёт ничего.

Потому зацикливаюсь на этом отвратительном и точно уж не русском непотребстве, что ещё ребёнком знала: те, кто пока над нами «властвуют и советуют» нам, изгаляясь над народом, они не то что назёмом — они з е м л ё ю брезгуют, — которая кормит их и, пока, держит, — именуя её г р я з ь ю.

Всем нам всё время нужно работать, чтобы дома всё было. Чтобы был достаток — мы кулаки! Вот только с хлебом, мукою и крупами не получается пока — их для нас нет. Пока нет. Что ж, люди мы не гордые — печём лепёшки из размолотой коры, но с ягодами, травами, с сахарком даже. Что только ни придумываем, чтобы голод на хлеб обмануть. Тем более, «небесполезно это», как говаривал наш молчун дедушка Николенька. И то, как всё таки жили мы без хлеба, который нам не давали? Да и без мяса первое время, когда добывать его не разрешалось — а мы, по первости, и не умели его добывать. Как и обходить запреты не научились ещё.

Папа–то — он уже с двумя подросшими братьями сутками на морозе работал! Мясо им обязательно нужно было, чтобы не свалиться. И нам, маленьким, чтобы расти.

Потому, как бы мы ни относились к легитимности державшей нас за горло власти, пришлось пойти на преступный её обман. Ничуть не иронизирую. Просто были мы, в отличие от апологетов её, законопослушными гражданами н а ш е й страны. А обман её, настоящей нашей, в планы наши не входил.

… Как–то — лет через тридцать — в Новой Англии, брат Бена рассказал нам, как их общий дед Чарли «беспардонно надувал» своих покупателей. До того обретался он с огромной семьею в Белоруссии где–то. И старшие его сыновья, — эмигрировавшие в Америку ещё в конце 19 века, — прежде, чем весь этот кагал к себе «выписать», в 1913 году купили отцу в сельском пригороде Бостона молочную ферму. Сейчас это почти городской центр.

И вот, «… выдаивает Чарли своих коров, отвозит до солнышка свежее молоко сюда, на городской рынок, и — вы только подумайте!, — то ли гневаясь на деда, то ли восхищаясь его местечковой сообразительности, втолковывает нам всё еще не забывший «чудовищного преступления» Чарли внук его. корпусной генерал. К слову. — Вы только подумайте! Он уверяет сомневающихся покупателей, что молоко свежайшее, что коровы доены им лично вот только что — в пять утра! А на самом деле он подоил их ещё в четыре!».

Видите! И в Америке покупателя обманывать не полагается. А НАШЕГО, что «КУПИЛ» НАС — ограбив предварительно, и убив папиных стариков?

Как его, такого, обманешь?

А вот так! В тайге у нас — кто главный? Главный у нас, по местному, медведь–прокурор! И мы по «договорённости» с ним заводим коров — кормилиц. Но не дома у себя, где было бы всем удобно. А в тайге, в тайно срубленном балагане. Упрятан он в такой непролазной чащобе нашего и без того глухого района, что найти его постороннему невозможно. Сперва держим в нём двух коров. Потом четырёх и бычка. Но папа и мама на работах. Выросшие дядья мои — тоже. Потому наши таёжные кормильцы на мне, подростке. И на маленькой Але — младшей сестрёнке моей. Это не значит, что родители и дядьки не помогают нам. Нет! Они, после драги и электростанции, каждую свободную минуту с нами, при наших делах. Как и старенькая бабушка Марфа и тоже совсем старый уже дедушка Николенька. Но минут таких у них у всех до обидного мало.

Мне было уже восемь, когда папа поставил меня косить. Смастерил маленькую — лёгкую и удобную — косу. И… пошло-о!

С того часа косьба — радость! Уже в «зрелые» московские годы, — особенно, когда возвращалась с Беном из долгой поездки заграницу, летала к папе — в моё детство, где для меня специально оставляли «мою» часть покоса! А в двенадцать лет я и подросшая сестричка — мы, бывало, и родителей подменяли на час, позволяя им заниматься чем–то более срочным.

Но ведь и косили мы в те годы тоже тайно, окашивая по тёмному времени опушки и поймы вблизи балагана. Косьба «казённой травы» — ещё одно наше тягчайшее преступление! Потому, как ночные тати, работали осторожно. Скосив траву, сразу относили её в чащобу. Ставили жерди под шалаши у скал. Строили по ним зароды — большие стога. Маскировали их ветками…. «Партизанили».

Слови нас на том милиция или «актив» — быть несчастью. Забрали бы папу, дедушку, дядей взрослых.

Понять захвативших Россию швондеров можно — им голод необходим был в истязаемой ими стране — голодных проще насиловать.

Да, понять их можно. Простить нельзя. Их и не простили.

Говорят, — я сама слышала! — что все мы — миллионы именно русских репрессированных крестьян, дворян и разночинных интеллигентов — неприлично жестоки в отношении судеб — волна за волною — казнимых в 30–х — 40–х годах палачей. И что «из–за таких вот постоянных напоминаний о жертвах репрессий и о вине невольных(!) их организаторов и исполнителе мы сами отвращаем добрый свой и Богобоязненный русский народ от… православия, которое учит прощать врагов. А это, в свою очередь, может привести — не дай Бог — к началу НОВОЙ гражданской войны!».

Будто СТАРАЯ — «Бог дал» — кончилась.

И Православие с Лютеранством будто не они удушили…

Нет! Напоминать большевистским палачам о их преступлении перед Россией необходимо неустанно и во всеуслышанье. Это именно они — заплечные — своими руками, а подручные их — одобрямсом — загнали десятки миллионов за колючку бесчисленных лагерных зон, кровавой сыпью покрывших измождённое тело изнасилованной ими огромной страны. А десятки других миллионов — в ссылочные нети, что страшнее проволочных, потому как в них мордовались и гибли миллионы детей. Всё тот же иссякающий стремительно русский генофонд.

Они, видите ли, — и такие «аргументы пришлось выслушивать, — и сами себе тоже могилу вырыли! Что ж, верно. Вырыли. Туда им дорога. Но ведь рыли–то они её народу. Нам!

…На моих глазах окружавшие меня мальчики, — из тех, кто

выжил чудом в нежити ссылки, — стремительно взрослели. Росли–то они в семьях, на смерть стоявших перед неистовой суровости природой. И перед куда как неизмеримо более лютой беспощадности режимом. Да, трусливым по природе своей! Подлым по рождению! Преступным по ментальности! Но, по началу, — в годы растерянности смутой, в годы брожения и бессилия обманутого большевиками народа, — по звериному… «всесильным». Потому мальчики наши, — лишь только выжив, — самим этим фактом уже победили его! И генетически бессмертные, морально и физически необоримые, — не зря же присвоено им — Создателем нашим сотворённым нарочно, чтобы кормить народы — Высокое и Гордое Звание «КУЛАКИ», — мальчики наши вырастали в мужчин. В мужчин настоящих! В Мужиков! Противостоянием и сопротивлением измывавшейся над ними, и над семьями их, власти набирались они могущественных, необоримых сил. И становились — во истину — Богатырями Духа!

Но ведь и в зонах ГУЛАГа томились–росли такие же парни. В большинстве своём тоже вчерашние крестьяне. Страна–то была крестьянской. Не крестьян — «пролетариата» — было в ней тогда, без преувеличения, с гулькин нос! «Рабочий–то класс» — его тогда днём согнём надо было искать в провинциальной России. И они тоже, — миллионы, как правило, ни в чём не виновные как и на вечно отправленные в ссылку мужицкие сверстники их «из кулаков», — они тоже загнаны были за решетку тюрем и за колючку лагерей!

Поинтересуйтесь–ка, почитайте, сколько их, ни в чём не повинных, реабилитировано только за полвека! Официально, значит, признанных невиновными. Признанных не кем ни будь а собственными палачами — судьями их и прокурорами! Теми самыми, которым такое «самоуничижение» по дремучим их понятиям, точно — поперёк горла! Ведь именно отсюда — подлая совершенно, мало кому понятная на первых порах, но многие годы производившаяся запись в миллионах — снова миллионах — «справок»: «отсутствие в возбуждённых уголовных делах состава преступления». Или вовсе изощрённо издевательская: «за отсутствием доказательств»!

Как же им, справки эти подписывавшим, перед жертвами своими даже только лишь извиниться претило — не прощения просить за поломанные ими же людские судьбы!

Но все эти реабилитационные и «справочные» кампании — они потом, потом, — много позднее, — случились.

А тогда мордуемые звериным режимом зоны молодые люди подрастали. Росли. Но не на воле. И взрослели не в семьях. Пусть

даже и не во всём образцовых. Пусть не Бог весть как работящих. И даже пусть не всегда во всём законопослушных. Потому напрочь лишены были понятия о присущей даже зверю ответственности за детёнышей своих, отнятых арестом и многолетней изоляцией, если они уже были. А если их ещё не было — лишены были возможности и права завести их во время. Об ответственности за стариков, которые как бы уходили от них навсегда и исчезали из новой их «жизни». Да что ответственность за каких–то не существующих стариков и детей — у них атрофировано было чувство элементарной ответственности за собственные свои поступки даже перед товарищами по несчастью, с которыми годами, десятилетиями делили они голые нары, не греющую вонь напитанных потом и слезами поколений арестантов «одеяла» и «сладкий» тюремный хлеб! Даже, бывало, если отсутствие этой ответственности, или только пренебрежение ею, оказывалось — автоматом и неотвратимо — причиною жесточайших ответных наказаний администрацией, И ещё более изощрённых и чудовищных расправ со стороны не менее нетерпимых и не более ответственных за поступки корешей.

Никаких законов потому эти Богатыри Силы, превратившиеся в отморозков, не признавали. В том числе, — что оказалось на деле особенно чреватым, — даже «Законов Зоны», до поры до времени державших в узде не только тоже многомиллионную блатную вольницу. Но, в жестких шорах, саму, — не подчиняющуюся ни Богу, ни чёрту, «неприкасаемую», не терпящую вмешательства в дела её, — элиту уголовного мира. Своевольничали. И, не задумываясь, физически устраняли каждого, кто им сопротивлялся.

Так жили они, и поживали эти «Богатыри Силы». И, — уже после амнистий пятидесятых, вместе с воспитанными ими и за тридцатилетие поднабравшимися у них блатного опыта и духа поколениями молодого расплода, — дожили до конца восьмидесятых годов. Только целью их была уже не рутинная, — хотя и не без постоянного и вполне приличного фарта, — «мелочёвка». Но Большие Деньги. Очень Большие Деньги! Деньги Сумасшедшие. При чём, тайное — для не посвящённых — движение которых «силоборы» усекли десятилетием прежде всяческих спецслужб.

Но деньги–то эти были, как бы, заколдованы. Неуловимы. Они были — и их не было. Потому как быть не могло — всё же у нас государству принадлежало. Народу! Но… они снова появлялись — партиями — внезапно. И, партиями, исчезали тут же. Насовсем, будто «проваливаясь» куда–то. И, кто знает, возможно, что и за бугор…

Тогда ведь даже самая что ни на есть «законная» кодла о мировой банковской географии знать не знала. Но уже наслышана была, что деньги, которые «ходят и исчезают», и «прочие движимые и не движимые активы Государственного Банка», их обеспечивающие, не исчезают никуда! А стоят себе тихо в виде разных предприятий и заводов, рудников и просто месторождений — ну разной там недвижимости. Работают тихо. И тоже тихо и давно распределены, «по семейному», промеж детишек и внучат тех, которые в своё время порасстреливали пионеров–организаторов первоначального, и потому самого результативного, ограбления «не трудовой» бывшей России. А потом конфискационными «приговорами» 30–х — 40–х годов незатейливо, — теперь уже в своё «личное пользование», в свою н а с л е д с т в е н н у ю собственность, — экспроприировали у настоящих экспроприаторов сокровища воистину несметные! Практически, все богатства, все состояния, что накоплены были Россией и насельниками её за тысячелетие. Что создано было трудами её народа к октябрю 1917.

Если верить тем же большевикам — Коровину, Полонскому, Слиозбергу, другим — несть им числа, — ещё во времена женевского и берлинского иммиграционных сидений будущими вождями революции тщательнейшим образом проинвентаризированные. Не умозрительно, конечно же. А по солиднейшим экономическим справочникам, Главное, по бесчисленным, — чуть ни по каждому из раритетов и, персонально, их владельцам, — музейным, коллекционным и аукционным изданиям и тематическим альбомам и аукционным рекламным проспектам. С протокольным их перечислением и экспертным оценкам по имеющему хождение курсу.

Не так «просты, как правда», были эти радетели свободы, равенства и братства! (Коровин Иван Ильич, «Голгофа России», Б., 1934 г.; Полонский Арон Тевьевич, «Ленинград и Москва. Осмысление происшедшего», Н-Й., 1938 г. и Слиозберг Лев Павлович, «Так было!», Рига, 1929 г., В. Д.).

Братья Вайнеры отлично знали их, «публичку» эту, которая «… уж как–то слишком буквально поняла смысл (своего) политического лозунга «грабь награбленное!». А поскольку всё соблазнительное и не принадлежавшее ей казалось награбленным, то она и сама пограбила всласть. И время от времени всплывали (…) дворянские драгоценности, невиданные архиерейские панагии, нэпманские золотые портсигары — бездна милых пустяков, на обысках и изъятиях случайно попадавших не в протокол, а в бездонные карманы наших бойцов…». «…Ох уж эта наша страсть к полицейской работе! (Отсюда, вероятно,

«искренняя» и с завидным упорством декларируемая вот уже восемьдесят лет кряду трогательная «убеждённость» моих особо чувствительных к теме соплеменников о том, что беспардонного ворья этого «деятельность вовсе не перечёркивает изначальной чистоты устремлений и искренней убеждённости в правоте!»).

Со времени первого русского обер–полицмейстера Дивьера (…) они хотят надзирать за правопорядком и нравственностью российского населения. А уж при советской власти они слетелись (сюда) как вороньё на падаль. Уж очень эта работа пришлась им по сердцу, национальный характер раскрылся в полной мере. Ну и, конечно, сладко небось было вчерашнему вшивому пейсатому парию сменить заплатанный лапсердак на габардиновую гимнастёрку с кожаной ловкой портупеей, скрипящие хромовые сапожки, разъезжать в легковой машине и пользоваться властью над согражданами, доселе невиданной и неслыханной.

Работники они были хорошие… Это не их заслуга, а удачное приложение национального характера к завитку истории. То, что их веками презирали и ненавидели другие народы, сделало их (здесь) лучшими и незаменимыми…

До поры, до времени.

Ибо в быстротекущем времени они понесли самые большие потери. Волны чисток — одна за другой — вымывали их из несокрушимого бастиона «органов». Их выгоняли, сажали и расстреливали как ягодовских выкормышей, потом как окружение Дзержинского и Менжинского, потом как ежовцев, потом как абакумовцев.

И только уже потом — просто как евреев.

Смешно, что смерть Пахана спасла их от полного уничтожения, но сразу же за этим поднялась заключительная волна их изгнания и посадок (и расстрелов, В. Д.) — подгребали бериевских последышей. (…) А тогда (летом 1953, В. Д.) они ещё служили. В ежедневном ужасе, в непреходящей тоске (до последнего часа) яростно и добросовестно трудились…» (Аркадий и Георгий Вайнеры, «Евангелие от палача», М., 1991 г., с.237–239).

Прощения прошу за столь длиннющую цитату. За то ещё, что позволила Бену вставить её в приводимый им мой «японский» монолог. В силу исключительных, несомненно драматических обстоятельств, спонтанно вырвавшийся у меня, молчуньи на людях. И вообще молчуньи. Монолог сумбурный. По видимому, мне необходимо было выплеснуть десятилетиями копившееся во мне чудовищное информационно–психологическое напряжение, накопившееся за шестидесятилетие моей и моей России непрекращающейся трагедии…

Или даже не монолог — исповедь. Исповедь, конечно же, адресовавшуюся Человеку очень близкому мне, нам с Беном, из–за страшной «игры» — переплетения наших судеб. Необыкновенному Человеку. Произведшему на меня впечатление, потрясшее моё воображение. А ведь ко времени встречи с ним я повидала Мир. Познакомилась с людьми интереснейшими. Мало сказать, не ординарными.

И ещё потому позволила, что Бен оканчивал — как будто бы! — вот это вот пол века ожидаемое мною от него повествование о моих Адлербергах. И, — постоянно обуянный страстью добиваться, чтобы его (по отцу) евреев не убивали за то, что евреи, а его (по маме) немцев — даже в этом поминальнике о людях давно усопших стремился отделить Зерно от плевел. Полагая, что народ — любой народ — не должен отвечать за своих мерзавцев. Для чего мерзавцев своих он обязан знать «в лицо»!

Из песни слов не выкинешь…

Да, так действовали они в строгом соответствии со своими законами. И ментальностью. Как в замечательной Сказке о козлёнке, которого съела кошка из еврейской Пасхальной Агады:

«… И пришел Всевышний.
Благословен будь Он
И поразил Ангела Смерти,
Который убил мясника,
Который забил быка,
Который выпил воду,
Которая загасила огонь,
Который сжег палку,
Которая убила собаку,
Которая загрызла кошку,
Которая съела козлёнка …»

Мама читала нам эту страшную и назидательную «Восточную сказку жизни», которой, верно, много больше трёх тысяч лет. И не сомневалась, что именно такие вот откровения–открытия Безымянных Авторов древности учат нас настоящей живой жизни в новом… «обществе». Не даром же Агада эта самими евреями названа «Живой»! Именно, живой, а не тошнотворно дохлой и откровенно издевательской, что изрыгала из себя тараканья стая кальсонеров, до безобразия расплодившихся со времени РАПП. Заполнивших хлебные должности «известных», «крупных» и, без ложной скромности, «замечательных» детских литераторов. И убаюкивавших, — подонки!, — миллионы сирот, родителей которых уже убил и повсюду убивал ещё Сталин, такими вот «колыбельными»:

«… Опять я склонился к зелёной сосне.
Вдруг серые волки подкрались ко мне:
Раскрыли клыкастые пасти -
Вот–вот растерзают на части!
Не мог шелохнуться от ужаса я…
Мамочка, мама, голубка моя!
Но Сталин узнал, что в лесу я стою,
Разведал, услышал про гибель мою.
И танк высылает за мною.
И мчусь я дорогой лесною.
Мамочка, мама, голубка моя!
Настежь открылись ворота Кремля,
Кто–то выходит из этих ворот,
Кто–то меня осторожно берёт,
И поднимает, как папа меня,
И обнимает, как папа меня.
И сразу мне весело стало!
… А кто это был? Угадала?…»

Ужасно, что будто клеймом на лбу, втемяшилась эта мерзость и в меня, ни в чём не повинную девочку из тайги, которая ещё не знала, что не все книжки можно читать или даже прикасаться к большинству из них!

Но оценить их нужно: «Великолепная полицейская работа!» Как у братьев Вайнеров.

Не то сегодня, в эпоху всеохватной, по всему окончательной, а потому вовсе уж откровенно бесстыдной перестроечной «приватизации» по большевистски. В эпоху м о л о т ь б ы! Тут внутрисемейные функции и роли меняются. Молодёжь в открытую и нагло растаскивает рабоче–крестьянское государство. А рабоче–крестьянские «силовые структуры» грабёж этот организуют, покрывают и окарауливают. Потому как во главе их — как всегда, всё те же паханы, имеющие з а к о н н о е пожизненное в них вхождение.

Поразмыслив над этими мало утешительными обстоятельствами, силоборы пришли к напрашивавшемуся выводу: сокровища эти — не движимые и движимые — просто так, «по хорошему», не взять. Взять их можно только боем. Силой оружия. Оружие после Афгана наличествовало навалом. Сил было — невпроворот. И они самым что ни на есть естественным образом трансформировались в нечто подобное родственных им по духу «КРЫС-УБИЙЦ». В победителей каннибальских «соревнований» с другими особями (как на крысиных ристалищах в безысходности стальных бочек из–под соляра»), оказавшимися на их беду менее удачливыми, менее стойкими, менее жестокими.

Загрызли их — вчерашних друзей, партнёров–подельников, в перманентном сражении за жизнь, баб и фарт. И сжирали поочерёдно в беспределе зоны…

И настал и для них вожделенный час! И они вырвались из проклятой «бочки»! И могли теперь реализовать свою выстраданную ими страсть — безудержный захват состояний теперь уже крыс–противников, когда–то загнавших их в тюремные камеры и за проволоку…

Настал их час!

Но час–то наших мальчиков, час Людей Духа, — он–то, к счастью, полувеком прежде настал!

В то время Страна наша, — после эпохи слома Станового Хребта и Православной Души Её — русского мужика, — взнуздана была, пришпорена и, еле живая, на дыбы вздёрнута повальным голодом, громкими судебными процессами, тихими и, по первости, мало понятными, а потому страшными, репрессиями. И, конечно, «Громадьём» планов «Сплошной индустриализации!». Голодная, нищая, разутая и раздетая страна окончательно обескровлена была «Пятилеткой в четыре года!». Массовыми молодёжными мобилизациями «… на самолёты!». «… на парашюты!», «… на танки!», «… на железнодорожный транспорт!» «… на трактора!», «… на Дальний Восток!». Даже «… на лыжи!». Хотя, «… на лыжи!», случилось позднее уже, в разгар другой — военной — эпохи, во время «Финской кампании»,

Не берусь оценивать усилия народа и его погонщиков. Не экономист. И не политик. Только на деле с таким неимоверным трудом и с такими огромными потерями созданное тогда прахом пошло после вероломного, упредившего наш освободительный поход в Европу, удара вероломного союзника. И всё то, что захватил он годом ошеломительного броска своих армий — армия наше освобождала потом бесконечных три с половиною. Устлала бескрайние поля и леса Европы телами десятков миллионов своих сынов, — снова миллионов, до сегодня ещё не всех похороненных.

И вот — апофеоз вместе взятых усилий того времени: за каждого убитого вражеского солдата Россия уплатила жизнями семи своих! А военные историки не унимаются! Считают теперь, после обнаружения ещё четырех — пяти миллионов не захороненных, что даже и десяти …

Но это — потом. После войны.

А до неё? В середине 30–х что? После голода. После застопорившегося за истреблением работящего крестьянина раскулачивания. После расстрельного беспредела злобствующей власти И, в особенности, после многомиллионных этих

молодёжных мобилизаций в армию — не в гражданскую же авиацию, которой не существовало, не в колхозные парашютные бригады, не в спортивные лыжные секции и так далее, и так далее, рекрутировалась молодёжь! Что в стране–то после всех этих изъятий осталось? Осталась пустыня человеческая. Кадровая пустыня — не зря же прорвалось тогда сталинское: «Кадры решают всё!». А тут — ничего! Гиль одна! В Сибири у нас, и на Востоке, — каторжная; во всех прочих провинциях — «пролетарская» чистой воды. Та и другая — сарынь. Но — не в пример времён Стеньки Разина — без «кички». И «силам возрождения», — не очень, правда, понятно сперва откуда взявшимся, — если опереться внизу, в народе, хоть на что–то, то лишь только на «силы вырождения»…

Как быть?

И вот, с средины первой половины 30–х годов, — сперва в Сибирской, Северной и Восточной глубинках, а позднее чуть, в столицах не режимных районов, областей, краёв и даже республик провинциальной России, — впервые, с 1917 года — повеяли свежие ветры. И, — по мере отлова и отстрела эшелонов большевиков–пионеров, и освобождения занимавшихся ими мест, — силовые, сперва, а потом и властные структуры государственного аппарата начинают стремительно заполняться НАШЕЙ молодёжью — теми самыми Людьми Духа! И, в первую очередь, кадры милиции, НКВД, НКГБ, МВД, Спец связи, лесной, речной и горной инспекций — кадры «силовых структур», по нынешнему. К о р е н н ы е кадры К О Р Е Н Н О Й теперь уже власти на местах!

Вот эта–то вот наша молодёжь, выросшие мальчики наши, обуянные всепоглощающей страстью — разыскать и наказать палачей своих убитых стариков и истязателей своих семей — взяли в руки «бразды отмщения».

И воздали!

Будто гигантским «ягодным совком» прошлись они по городам и весям! И, — прежде всех своих штатных дел — теперь уже не узнать, да и не важно это, правых или не правых, — выловили к началу войны и у т о п и л и, по Царю Иудейскому Соломону, почти всех до одного т о п и в ш и х !

Незадолго до кончины мама, перебирая в памяти свою и нашу жизни, и вспоминая судьбы предков своих, сказала: — А ведь и с нами, доченька, получилось как бывало, — и не единожды, — в русской истории! Все смуты, затеваемые нашей и пришлой сарынью, предки наши пересиживали благополучно. Кто где. Кто по дальним вотчинам, кто по монастырям, а кто даже по острогам. С уроном, — без которых, верно, они тоже не

обходились, — и мы тут, в тайге, пересидели очередную, пока наши не покончили с супостаты… Господь–то наш — Он всегда с нами!

Действительно. Пересидели. Но теперь уже с уроном для самих татей, до своей гибели вдосталь похозяйничавших в России.

Ни в коем случае не в оправдание упомянутого мною прежде «известного» поэта, рекомендовавшего «верёвки на шеи» судимым по «делу Промпартии» хозяйственникам. Но из чистого любопытства. И только в поиске истины: быть может, никакой он не подонок! А честный и мужественный парень, который знал точно, — или, хотя бы, наслышан был, — как пригвождаемая им публика хозяйничала в захваченной ею стране? В Сибири у нас, в частности?

Но о том в стишках его — ни пол слова. Потому как они хозяиновали расскажу сама. Если не забуду.

Да, мальчики наши задачу свою выполнили. Дело сделали — первую свою страсть утолили. И в июне 1941 ушли на войну. А возвратившись в 1945, заняли ожидавшие их места в аппаратах власти. Только теперь уже в соответствии с количеством и размерами звездочек на погонах и звёзд на кителях. И продолжали начатое — гнули свою линию. Хотя впереди–то было утоление иных страстей. Быть может, более высоких. Ибо ни сами они, ни тоже подросшие и тоже превратившиеся в настоящих мужчин дети их, — вынуждаемые брататься с ненавистной властью, — не простили ей когда–то с ними сотворённого.

И вот, полувеком, или чуть более, спустя — время для новейшей даже истории мизерное — произошло всё то, что должно было произойти. Что названо было крушением. И Что бы ни придумывали доброхоты, чем бы ни объясняли крах империи, развалилась она потому, что ссылка, которая заполнила аппарат, но ничего не забыла, сожрала власть.

А что же зона, в которую, — пожираемая ГУЛАГом, как гигантской раковой опухолью, — превратилась страна? И сама эта «страна» — зона? Более полу века, под завязку, заполнялась она бесконечными волнами вчерашних каторжников. Требовавший непрерывно человечины, Гигантский Лагерный Монстр пожирал население. Переваривал его. И исторгал из бесчисленных своих «малых зон» в «Большую Зону», по инерции именовавшуюся «СССР», миллионы — снова и снова миллионы! — выживших чудом россиян. Но уже закалённых голодом и издевательствами, и уже озлоблённых до беспамятства и люто ненавидящих проклятый большевистский режим.

Что бы понятней было, что произошло со страной, вспомним

что случилось с её языком. С могучим и красивым русским языком. ГУЛАГ превратил его в блатную «феню», на которой сегодня ботают не только российские СМИ, телевидение и театр. Но, п о д с т р а и в а я с ь под стиль «интеллигенции», сам президент…

Да, ссылка сожрала власть, которая ссылку создала. Зона сожрала государство, в которое создало ГУЛАГ.

… Но всё это — много лет спустя.

А пока в ссылочных наших урманах нам выживать не позволяют. А мы сопротивляемся! Выживаем. И вывозим добытое сено в схорон. В Балаган. К скоту. Зима у нас долгая — восемь месяцев. Сена каждой корове нужно не меньше тонны. А их у нас пять. И мы с подросшею Алей, впрягшись в сани, «подтягиваем» сено куда нужно. Сани — на камузах — на широченных полозьях из сохатиной шкуры с голени, натянутой на каркас из ивового прута. Потому назад — с горки — не соскальзывают. А вперёд, с той же горы, летят птицей! И по ровному движутся, как по маслу. Словом, без большого груза легки. Надёжны. В снегу не тонут.

Но… помните? Ведь «промысел» сена — преступление! Потому занимаемся им тоже ночами и, непременно, перед пургою: пурга заметает следы полозьев, наших с Алею пим и сенную труху. Не даёт найти схорон. Так вот мы с сестричкой и добирались до наших сенокосов, перетаскивая груженные сани через буераки и буреломы по снегу «до макушки». Слава Богу, что не в гору — балаган строили у воды, а косили на верху, над поймой. Тайга–то у нас горная!.

Добрые люди ночью, тем более, перед пургою, прячутся от стихии. И уж, конечно, оберегают от этого лиха детей! А мои папа с мамою именно в ночь пурги отпускают нас в тайгу, чтобы все мы — семьею — могли выжить. А ведь любят они нас куда больше жизни этой проклятой…

…Магистр Тамплиеров, угасающий в каменном мешке тюрьмы, — Богу: — Ты лишил меня власти. Ты лишил меня жизни. Благодарю тебя, что ты оставляешь мне ненависть!…

А друг и «названный брат» Бена Александр Евгеньевич Голованов в день моего тридцатилетия сделал мне и такой вот презент — «преподнёс» в роскошной «адресной» папке предварённое аж тремя уровнями грифов сверх секретности Решение самого Центрального контрольного комитета ЦК ВКП(б) от 1928 года «о запрете ссыльно поселенцам содержать скотину и изымать(!) землю под пахоту»! Оказывается, пережитое нами было не самодеятельностью, а «законом»! На документе подпись и печати самого народного ненавистника, истребителя коренных сословий, разрушителя храмов, гонителя православия —

Джироламо Савонаролы большевистского — Минея Израилевича Губельмана! Именно!

Сколько помню себя, в Сибири у нас никто никогда не называл его «ярославской» или «емельянской» кличками. А всё — по родовому прозвищу «Губельман Миней», чтобы никто никогда не забывал, не путал и помнил вечно — как забайкальцы у нас говаривали — ИЗ ЧЬИХ ОН! Как ИЗ ЧЬИХ Гиммлер, например, или Кальтенбруннер — изверги. И чтобы, не приведи Господь, не потерялся. Не ушел что бы. Скрыться бы, когда час придёт, не сумел… И как все мы огорчены были, узнав, что всё таки «сбежал» он! Сдох не от пули, не в петле, не в барже утоплённый, а своей смертью в постели, обереженный Хозяином, которому был верным псом!

И вот, подпись и печати — его. Но предварены они визами Струмилина, Гродко, Плинера и Мейсака. С первым и с тремя последними ясно: они палачи, шваль они и сарынь. Их, как говорил сам знакомец Бена Фриновский, «отловить, кончить и зарыть!». Но Струмилин?! Учёный, на котором стояла — пусть на ушах — «экономическая наука социализма»! На которого непременно ссылались. Которого обязательно цитировали. Которым клялась и божилась вся наша несметная рать «старших экономистов», что довела Россию до ручки!

Не аферист, вроде. Не самозванец. И, тем не менее… Он, что, понятия не имел о предмете визирования? Он не знал, что с каждой коровы во всех регионах страны государство сдирало в то время 22 килограмма топлёного масла, 200 творога и 95 мяса в год?! И что запретив одиннадцати с четвертью миллионам ссыльных семей, обретавшихся в «благоприятнейших для молочного сельхозпроизводства» районах страны, держать хотя бы одну корову кормилицу, он лишал своё же большевистское государство воистину гигантских продовольственных ресурсов! В количествах, которые не только спасли бы миллионы погибавших от голода крестьян и жителей городов. Но, позднее чуть, наполнили бы и мобилизационные закрома нашего — уже с конца 20–х — верного и почитаемого теми же кальсонерами германского союзника!

Ладно, с ненавидящими Россию бандоформированиями губельманов, и прочей сволочью, всё ясно: задачею их было голодом душить народ. Но что двигало коронованной академическими званиями бездарью — разработчиком «первых в мире систем» организации массовых моров и каннибализма, охвативших Украину, Юг России и Поволжье? Что руководило участниками «дела Промпартии»? Не спроста же, черт его побрал, фокстерьером вгрызся в них «известный» поэт! Что–то ведь, кроме

— допускаю — страха за шкуру, двигало и им тоже!

И речь–то, в конце концов, не о миллионах гектаров не востребованной и по сей день — через 70 лет — таёжной глухомани! О геноциде речь. О геноциде народа.

Но геноцид — не геноцид, — нам в нашей тайге нужны были ещё и дрова. Заготавливать их нам запрещалось. Разрешалось только собирать хворост. Но хворост — в сосновых, да в лиственничных борах?! Откуда он там? А если даже он там был бы, — как искать его, как по веточке собирать те же восемь месяцев зимы под двух, а то и под трёх метровым снегом?! И как вообще собрать аж сорок его «фестметров», которые нужно истопить за зиму, чтобы не замёрзнуть и готовить еду? Летом заготавливать? А где хранить эту огромную гору веток! На «пятачке» меж таёжной опушкой и бараком? Но это опасно: из барака не выскочить, если сухой хворост, вдруг, загорится! А тайга если от него займётся?

А ведь она вокруг, тайга. От барачного порога и — на тысячи вёрст во все стороны света! Стоит — перестойная! От Оби до берегов Охотских стоит. От Нижней Тунгуски, до Монголии. И всё топора ждёт — рубить её, чистить, место освобождать для нового подроста… Чистят, конечно, рубят. Что–то подсаживают. Но лишь у сплавных рек. На карте Сибири лесосека эта приречная — тонюсенькими штришками по бескрайней стене! А основной массив лесов — он как стоял, так и стоит, нетронутый. Дорог–то, чтобы лес вывозить, — как не было их при царе Косаре да Горохе, так нет и до сегодня. Как даже при хвалёном Блюхере, — рассказать — не поверят!, — ни одной дороги из воинских частей Дальневосточного гигантского округа проложить не догадались. На «случай», а вдруг, Огромная, да Краснознамённая к тому же, Армия, — «ОКаДВА», — для чего–то потребуется за пределами таёжных гарнизонов, обретавшихся в непролазных болотах амурского понизовья!

Мой любимый поэт полтора века назад написал:

«… Недаром есть пословица,
Что нашей–то сторонушки
Три года черт искал:
Кругом леса дремучие,
Кругом болота топкие,
Ни конному проехать к нам,
Ни пешему пройти…»

Ещё рубят лес на «золотые» костры. Но то тоже «мушиные отметины» на той же стенке. Однако, и они — выше моего понимания. Тем более, что в стране, где «социализм, это учёт!», никто сводимого на такие костры леса не учитывает. А потому

Главзолото Наркомата Внутренних дел в сводках своих миллионы кубометров леса, сжигаемого им на этих «золотых» кострах, не показывает. И лесному хозяйству потерю их не оплачивает. Даже символически! «Экономика должна быть экономной» в действии!

А нам–то, как же нам быть, как жить, выжить как в будни этого праздника социалистической экономики?

А так! «…И наши топоры
Лежали до поры!».

И вот, зимою дядьки мои валят сухостой. Сушняк. Кряжуют его. Подвозят на санях к балаганам. Здесь распиливают на чурки и кололи. Тоже пряча поленницы под старыми раскидистыми елями. Тогда же дядьки бьют пешнями проруби во льду, в ручьях у балагана, промерзавших почти что до дна. А в зимней, в мороз, тайге звук пешни и топора, — да и пилы тоже, — разносится далеко! Потому пилим и колем дрова, и лёд пробивем, в снегопад. При снеге звук удара глуше. При пурге — тем более. Потому во время пурги мы с Алей срубаем с упавших лесин сучки. Топор очень звенит, когда срубаешь сук. Только когда пурга — дышать трудно. Задыхаешься. Аля, было, тоже не раз задыхалась….

Хорошо, что радио тогда у нас не было. И мы не могли слышать самого, пожалуй, подлого — из бесчисленных подлейших — «произведения» советских кальсонеров о замечательной стране, «где так вольно дышит человек». Наших мальчиков в хрущёвское уже время обвиняли — умозрительно уже, правда, — в особом «пристрастии» к передовой советской «интеллигенции». А ведь именно из–за неё, — понятия не имевшей, что на самом деле есть интеллигент, русский, в том числе, — именно из–за таких вот сочинителей, силовики «из наших» и вели себя в эпоху того самого кальсонерского «большого террора» не вовсе корректно. А если точно — как повара с картошкой, — с попавшими в руки к ним и нашими тоже мучителями всех мастей.

… Валить лес летом куда безопаснее. Тем более, при ветре — при ветре листва перебивает любой «человеческий» шум. Но летом «на себя» времени у взрослых нет. Тут самая работа для детей. И мы старались. По Некрасову, любимому: «… В день Симеона батюшка
Сажал меня на бурушку
И вывел из младенчества
По пятому годку,
А на седьмой за бурушкой
Сама я в стадо бегала,
Отцу носила завтракать,

Утяточек пасла.
Потом грибы да ягоды,
Потом: «Бери–ка грабельки
Да сено вороши!»
Так к делу приобыкла я…
И добрая работница,
И петь–плясать охотница,
Я смолоду была…»
Это ведь и про меня…
Кроме сена коровам нужен был турнепс. Нам тоже.
Кстати, о турнепсе…

Во времена Веймарской Республики — до Гитлера — немцы жили турнепсом. Как жили — о том поминать не к ночи. Но кроме этого замечательного кормового корнеплода не было у них еды. Из него суп с луком. Из него «каша» с газонной травкою. Из него «котлеты» с корою. Даже кисели с сахарином. За неимением «гербовой»… ели. И помирали себе. В 1918 году победители определили их «в зачинщики Первой мировой». Записали «в побеждённые». И успешно истребляли голодом. Плох был Гитлер, хорош ли — судить не мне. Но, возглавив в разгар мора и глада разорённую войной и Версалем страну, немцев он не зорил. Не мордовал. Голодомора и каннибализма, как Сталин на Украине и в Поволжьи, не организовывал. Крестьянина своего — не то, что кулачить и ссылать — возвеличил. Дал народу работу, а значит, достаток. А тем, кто нуждался — благотворительные столовые по всей Германии. В 1938 году, в Хоэншенхаузене на северо–востоке Берлина, построил он и открыл первую из серии новых, самых современных и больших в тогдашней Европе, «Кухню национал–социалистического благотворительного Союза». И до февраля 1945 года в бесчисленных столовых её бесплатно и сытно кормил малоимущих граждан! (Воюющей на два фронта страны. Не имеющей ресурсов, Полностью и до основания — в щебень — разрушенной англо–американскими бомбёжками. В. Д.).

Почему вспомнила об этой замечательной кухне? Да потому, что в том же 1945–м советские оккупационные власти устроили в «фашистско–поварском комплексе» лагерь («№ 3» для перемещённых лиц, В. Д.). Без кормёжки только. На другой год тюрьму (Центральную следственную, НКВД, В. Д.). А потом (на 35 лет, В. Д.) передали её госбезопасности. И берлинский Хоэншенхаузен — при Гитлере символ благотворительности — превратили при Брежневе в Центром работорговли! (За 26 лет — с 1963 года — правительство ФРГ выкупило у ГДР за 3,4 миллиарда западных марок 31775 политзаключённых! В. Д.).

Вот так вот оканчивалось каждое начинание большевиков:

тюрьмами обязательно, заложниками, шантажом, непременно массовыми убийствами и, — что уж там стесняться в своём отечестве, — «счастливыми» продажами–выкупами. И, обязательно, голодом!

Голодом должно было им доконать и нас. Но мы с Алей — две рабочие лошадки, сменяя старших, ночами корчуем тайгу. Рыхлим — и тем оттаиваем — мёрзлый грунт вглубь, сантиметров на тридцать. Пашем, впрягшись в почти что игрушечный плужок, смастерённый дядей Володей. Дядя Володя умеет всё. Плотничать и столярничать, как папа. Слесарить. Работать на всех станках. Ремонтировать всё — от локомобилей в котельной, до любого оружия в Спец связи и любых часов. Он и смастерил нам плужок с колёсиками. И мы с Алей пашем вдвоём. Бороним тоже дядей Володей сделанной маленькой бороной. Удобряем навозом, и тем утепляем одновременно, наш огород. Нас же приучили, что земля — она не грязь! И навоз — никакое он не дерьмо, а великая жизненная сила!… И сажаем ростки овощей. И устраиваем в луночках семена их…

А потом, погодя немного, когда всё посаженное взойдёт — мотыжим наши полоски. Окучиваем. Окапываем всходы. Поливаем их. И, однажды осенью, — у нас это — вторая половина августа, — когда на Юг потянутся с Севера бесконечные гусиные стаи, — значит, быть вот–вот большому снегу!, — мы с наших огородиков снимаем урожай.

Мне жаль искренне тех, кто этого счастья не испытал… Да, конечно, я и огородницей росла. Но ведь и скотницей тоже — телятницей, свинаркой, птичницей, конечно. Я пахала на себе. И дрова, и воду на себе возила. Хотя хлюздей, — на которых — считается — «воду возят», — не была сроду никогда!

Всего не перечислить, что я своими руками переделала — «девочка из Северных лесов». Руки мои о том кое что могут рассказать. Меж тем, небожители, портретами которых во второй половине XX века украшены были обложки американских и британских журналов, принимали меня той, кем была от рождения! И вот эти вот руки мои — «после навоза» — целовали. Они–то –люди читающие, главное, дочитывающие всё до конца и потому хорошо обученные — они знали, что библейский Иезекииль питался коровьим помётом, а Иов — тот даже погрёб себя в навозной яме! И вот они куда меня посадить не знали — было и такое. И не забывали никогда потом позвонить, а то и поздравить…

Тот же Эйшио–старик — Не последнее Лицо в Не последнем Государстве.

Не лишними оказались и предки мои в моём «активе». А ведь

родиться от них — сама я на такое не напрашивалась.

Тут, как раз, произошло трагикомическое событие, круто изменившее к лучшему наше существование. Да нет, пожалуй, не существование уже — жизнь саму! Жизнь к лучшему изменившее! Можно сказать: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!».

В 1944–м, когда война переломилась, и шла к концу, у нас появились — неожиданно и вдруг! — настоящие, — а не тайные, Бог весть в каких не удобных местах разбитые, — удобные законные пашни, сенокосы, поскотины, огороды, пасеки. А у обеих наших семей — даже сады! Всё появилось, что можно создать, если есть голова, если руки есть, желание если есть и умение. И, естественно, если каждый Божий день не возникает с обязательными идиотскими указаниями, или пакостными идейками, очередной — из всё ещё недобитых за массовостью их расплода — большевистский подонок. Хотя, именно, вот такой вот, именно такой — из самых что ни на есть классических кальсон кальсонычей — нас, немцев, и осчастливил! Лично ли сам, или по команде чье–то — не знаю. Да это не имеет значения. Но осчастливил — иначе не скажешь! Поспособствовал внезапному, — и невероятному в самую кульминацию, в самый пик войны, — возвращению нам, вопреки отчаянным усилиям губельманов и прочих недобитых швондеров, отобранных ими пятнадцать лет назад наших прав на землю, на луга, на леса! Прав на учёбу. И вот, в том же 1944, открыта семилетка. А годом позже — десятилетка даже!

К тому времени — к пятому году Второй мировой войны — положение наше стабильным назвать — язык не поворачивается. «Положение было положением во гроб!». Правда, вот уже как года полтора–два к маме, бабушке Марфе и дедушке Николеньке власти относятся подчёркнуто корректно. А кое кто и дружественно до приторности. Как никак, разрешены религия и церковь. В школе, — как и в кремлёвском кабинете Сталина, что видели мы на фотографиях в газетах, — портреты Нахимова, Суворова и Кутузова — дворян!. И фильмы, где, опять же, к дворянам — героям России всех времён — уважение и почтительность. Хотя бы со стороны режиссёров. Слухи ходят: колхозы распустят, колхозников на волю выпустят, выдав паспорта. Ссыльных — не немцев, пока, — по домам, по прежнему месту жительства…! Много чего слышалось… Но вот именно с нашим немцем–отцом, и с нами полу–немцами, детьми его и его братьями, не церемонятся. Хамят. Третируют по мелочам. Но это понятно и принимается как должное: война–то идёт с немцами! С какими — это уже никого не интересует. И дедушка Мишель Гирш, наш учитель, заходя «на чаёк», «успокаивает»: Не

переживайте, Бога ради! Нас евреев вот уже две тысячи лет мордуют и мордуют из–за наших же собственных сволочей. И мерзости этой меньше не становится. Но терпим же! Терпите и вы.

Терпели. Спасало мастерство и невиданное, потому невероятное для производственного начальства, трудовое упорство папы, дядей Ленарда, Володи и подросших Александра с Мартиным. Практически, они, как механики от Бога, вытянули на себе котельную, локомобильную электростанцию, механические мастерские и, конечно, драгу!

Положение драматизировалось, когда стали появляться первые искалеченные войной. Издёрганные, психически не уравновешенные, они пили беспробудно. Отсыпались. Приходили на работы к нашим. И домой к нам — опохмелиться. Считалось — мы им, фронтовикам, обязаны. Вязались не зло, но по любому поводу. Нет, зла на нас они не имели. Более того, я бы сказала, что относились они к нам по доброму. А возвращавшиеся из госпиталей в самой уже Германии, и увидавшие настоящих германских немцев, — вовсе по заговорщицки, с каким–то трепетным братским чувством. Но, всё равно, обидно им было, искалеченным, видеть, как здесь, дома у них в тайге, хозяйничают на работах и «хорошо живут те же немцы», которых война не задела и не покалечила. Мы чувствовали это. Понимали их состояние. И нам всем было не по себе от того, что — вот — мы живы и здоровы, а такие же, как мы наши соседи–русские покалечены. Или вовсе остались там…

Не знаю, что было бы дальше. Но тут, вдруг, — по всей России, по Сибири, по району, — прошелестело тихо, «шепотом» сперва, и тотчас громыхнуло набатом, как в колокола или в рельс колуном — слухами и даже листовками, и местными районными газетками, н е в е р о я т н о е : « Е в р е и о т б и р а ю т у н а ш и х р у с с к и х н е м ц е в Волжскую республику!». Отбирают их «землю, которую они за два, а где и за три столетия, превратили величайшим трудом в житницу России!»… «Отбирают имущество!»…

Хотя имущество растащено было без евреев ещё назад три года — на другой день по депортации.

Быть не может!

Но нет дыма без огня!

Прав был дедушка Мишель Гирш: Мерзавцев меньше не стало. Оказалось, что эту мародёрскую идею — организацию ненемецкого «очага» на территории «бывшей Республики немцев Поволжья», высказал не кто–нибудь. Но тот же вездесущий «известный» поэт, что призывал гнать «на бойню» и «с верёвками

на шеях» несчастных своих соплеменников — подсудимых на процессе Пятакова! Фашиствующий — иначе, как скажешь(?!) — деятель. Член такого–то растакого–то «…антифашистского» Комитета, «искренне, — как об этом тогда вещали доброхоты, — и глубоко убеждённый, что это явится актом величайшей исторической справедливости!».

Но ЧТО «АКТ величайшей исторической справедливости» ПРЕДПОЛАГАЛ тогда, в 1944 году? Предполагал окончательным ограблением завершить окончательное ограбление уже и без того окончательно ограбленного раскулачиваниями 1929–1933 годов, и депортацией 1941 года, народа–трудяги.

Получалось: воспользовавшись трагическим положением российских немцев, «некий» народ–мародёр нацеливается территорию Республики присвоить. «На законном основании», — как выморочное имущество, — её умыкнуть. Мошенническим путём прибрать к рукам не принадлежавшую ему никогда великолепно обихоженную владельцем её, и ставшую потому бесценной, землю. Единственную в своём роде в России производственную, обрабатывающую и хозяйственную недвижимость. Если не растащили уже — уникальный машинный парк и сельскохозяйственный инвентарь. И, наконец, жилые дома, дворовые службы, системы мелиорации, водо- и энергоснабжения, так же — до депортации — созданные и принадлежавшие прежним их хозяевам.

А ведь «некоему» народу — хотя бы и в эйфории предвкушения — не мешало бы предположить, что наступят иные времена. И униженные русские немцы воспрянут. Частью даже останутся в России и займут подобающие им места в новом её обществе. Частью подадутся в Германию к себе. «К себе!», ибо злосчастную судьбу соплеменников на прародине в чём–то разделили. И там с омерзением заметят сбежавших туда и, как всегда, «не помнящих» прошлого старых знакомцев. Из 1944 года — тоже! Понаблюдают, между делом, за вызывающим оторопь, но предсказуемым, активным мельтешением дорогих гостей у наработанных поколениями немецких Erznaren жирных кормушек с социальными благами. За которыми — не иначе — и рванули они туда, где не истлели ещё кости матерей их и отцов. А чуть позже дождутся их у Старой Мышеловки с «бесплатным» сыром. У самой той, в которую тоже «ничего не помнившие» родители их, однажды, уже угодили…

Доброе будущее уготовили себе в Европе дорогие гости!

На наше немецко–русское счастье выболтанная «известным» поэтом и комитетчиком заманчивая идейка не замеченной не осталась. И самая передовая в мире Московская «общественность»

на первом же публичном междусобое «по Ближнему Востоку» в лектории Политехнического музея, крайне возбуждённая открывшимися перспективами, атаковала лектора прямым — в лоб — вопросом: — «Каково отношение официальных органов к национальной проблеме… народа…» — Я эту часть не помню в подробностях… Но, вроде так: — в свете предложений «известного» народного поэта?» — А дальше помню:

«Почему не организовать в пику Палестине автономную республику у нас, в СССР? Что у нас, земли мало?» — Вот это вот помню точно!: — «Что у нас земли мало, что ли? Крым, к примеру. Он уже два года как абсолютно свободен совершенно! Или бывшая Республика Немцев Поволжья!».

Об этой заявке на грабёж узнали мы одновременно почти с прозвучавшим по стране её «негласным» оглашением. Кроме нашего — русско–немецкого — наличествовал тогда ещё и чисто русский народ. Он тотчас и донёс до нас «благую весть» о готовившемся мародёрстве.

Слава Богу, наши «старшины» догадались самим не возникать. Война всё же… И всё такое прочее… Неудобно… Важно, что «акт величайшей исторической справедливости» известного козла–провокатора Маркиша Россию «достал». Она этого ни ему, ни тем, кто за ним стоит, уже не спустит. Мешать только не нужно… А тут известны стали и два комитетских письма Сталину и Молотову о Крыме, только–только «освобождённом» от извечных насельников его — татар. А вслед, — говорилось, всё за той же датою отправки — от 15 февраля 1944, — ещё одно, четвёртое письмо. И тоже Сталину. «О размещении имя рек Советской Социалистической Республики на землях, высвобождающихся в результате проводящейся депортации на Восток контингентов врагов народа чеченцев и ингушей…»

Ну, прям — не «известный» поэт, а штатный орудийный расчёт! И не комитет за ним «антифашистский» — «установка залпового огня»!

Письмо это видела сама! Сама читала! В нём — что ни фраза, то — «Нефть!», «Нефть!»… Одна нефть. О народах — ничего. Ни о том, что должен грабить. Ни о тех — кого грабить намереваются… С ума сойти!… Запомнила его на веки. Хранил экземпляр один из руководителей депортации, бывший первый секретарь Чечено—Ингушской (АССР?) Ян Саулович Левитин, весной 1957 года передававший Бену Акташский Горно–металлургический комбинат в Горном Алтае.

У Бена — копии всех этих писем. И реквизиты. А факсимильные экземпляры — в совершенно уникальном

«Собрании советских Монстров» из коллекции дяди Шуры Голованова.

Полвека собирал он их и хранил. И как–то обмолвился:

— Я вам скажу следующее дело, — такая у него «присказка» была, — они

сами себе вынесли приговор! Сами его и подписали! Решили: Всё! Нет больше такого народа — «советские Немцы»! И «имущество» его потому выморочно!

Ни хрена! Никакое оно не выморочное! Народ немецкий жив–здоров. Вчера сослан. Завтра возвращён — возвращён же!… А эти… — они всё понимали. Не вовсе и не все олухи. Но — наглецы-ы! Прикинули: если выморочное имущество по нашим законам принадлежит государству, они, — «пострадавшие от Гитлера», — письмами этими — наперёд всех — первые и к корыту за «компенсацией»! А другие, если объявятся, — кто тоже лиха хлебанул, — этих «Вас тут не стояло!»…

Не объявился никто… Да и объявиться–то как, если страна, народ, пяти

десятков миллионов, почти что, не досчитались!… Если русский генофонд выбит чуть ни начисто! Если Небывалая случилась Катастрофа самой России…

И объявляться–то как, лица не теряя?…

Ну а эти… Что им Россия? Не Гекуба, чай… «На всякий случай», закидывали крюка ещё и в Крым, и на чеченцев с ингушами землю — вдруг, где и сработает! Места столбили, я вам скажу следующее дело, — глаз они клали на места в государстве самые что ни на есть курортные. Заповедные. Господом Богом для себя сотворённые! И навар чтоб сходу, сразу! И действовали–то так, будто у «шуб» этих никогда владельцев не было!… Как у классика… Решили — не иначе: за их несчастье в Европе (сперва миллионное, потом двух, потом трёх, потом четырёх, потом пяти, наконец шести, — не знаю, остановятся ли в своих демо фантазиях?), здесь у нас, отвалят им (как в Арабской Палестине) всё, что душа захочет! И обнаглели… Но, как верёвочке ни виться…

По наглости они осторожность утеряли. И… задели «растяжку»!»

… И вот, — после того, как «известный» поэт высунулся, и Россию тряхнуло, получилось, что «русские немцы страдают вовсе не от Сталинского произвола. Но из–за «чьей–то беспардонной наглости». Чьей — известно теперь! И их, — нас, значит, — надо защищать. От кого — известно тоже. Битых–то — своих, конечно, — у нас уважают. У нас такса: за своего битого двух небитых дают! И нам, отныне, — с «подачи» этого поганого комитетского

козла, — положено всё то, что и остальным — лес, покос, пашня, огороды, сады. Школы тоже. Техникумы. А с 1946 — институты в Сибири и на Востоке.

Жизнь положена!

Но это — тоже потом. С 1944–го.

А пока всё скрытно. Всё пока тайно. Всё — под покровом ночи.

Вода та же.

Воды нужно было много. Пищу горячую готовить на большую семью. Затевать для скота тёплое пойло. Корм тёплый для птицы. Много, очень много воды нужно было на стирку — в семье четыре уже механика на драгах только и один, дядя Володя, в котельной! А там мазут везде, там солярка, там масла одно другого въедливей и злее. Керосин с глиной почему–то. Драга промывает — пусть под потоками воды — тысячи тонн запылённой породы. И без горячей бани, без жаркой парилки и свежего белья после каждой смены не обойтись! О нас — женщинах, и говорить нечего. Фрейлины, по рассказам бабушки Марфы, обмывались, дежуря, и бельё меняли по два–три раза на день. И мама, девочкой в Смольном, купалась после практики, и переодевалась тоже не реже. Как же мы должны были следить за собою после многих часов не лёгкой работы?! Климат у нас резко континентальный! Да, зимой ртуть опускается и ниже «50». Пыли в зимней тайге, практически, нет. И, как в Арктике, можно часто белья не менять — оно чистым остаётся. Но вот летом! Летом в тайге, как в джунглях тропиков, — все «40», и «45» даже, по Цельсию! Хотя ночью — тогда же — плюс «1», или даже «0»! Все сто потов сойдут с тебя, пока дело делаешь! Конечно, мы и обмываемся по сто раз в ключах и речушках, благо они — на каждом шагу. Мерзлота же! Она их, как мать детей, питает водой. И слаще воды этой ледяной, слаще ледяных купаний — нет ничего на свете! Но «я не на улице росла, и меня не курица снесла!» — баня каждый вечер — превыше всего! Чуть заленишься, устав, мама тут как тут с укоризною: — Доченька! Как же так? Или запамятовала, кто мы?…

Мы — никто. Подневольные мы. Рабы! — Плачу про себя.

А она — будто слышит мой стон: — Нет, солнышко моё! Нет! Не были мы рабами. И не будем…

Для двух теперь семей, — старший папин брат Ленард женился и жил отдельным домом, — берём воду из Удерея. Подъём от реки крут. Зимой скользок. Воду возим в кадке ведер на сорок. Меньшую набирать и гонять туда–сюда смысла нет. Кадкой заняты подросшие младшие дядья — им, жеребчикам, только не мешать! Летом кадку везут на тележке. Носим воду и

мы, девочки. На коромыслах. Вёдрами. С двенадцати лет. До двенадцати не разрешала мама. Вёдёрки у нас дядей Володей сработанные. Они разного размера — «на вырост». Аккуратненькие, из белой жести, — заглядение! Трёх сперва, потом пяти, — и, перед десяти литровыми «взрослыми», — семи литровые. Нести не далеко — метров двести. Когда папа с дядьками отрыли — прямо у наших домов — колодцы, стало куда как легко! Но за те годы, что ходили под коромыслом, фигурки себе «наносить» успели! Стали они как у Айседоры Дункан в мамином альбоме.

Конечно, зимою — утром — прорубь в реке ещё нужно было пешнёю очистить–пробить. В сильные морозы — а стояли они по шесть–восемь месяцев — окалывать лёд ходили дядья. Девочкам было такое не под силу. По воскресным дням, если давался «выходной» в мастерских, — зимами драга работала без перерыва, и, остановившись, вморозила бы в лёд понтон, — воду таскали парни.

Куда сложней, и тяжелее, было с водою в дальних балаганах. Хотя — я уже говорила — стояли они у воды. Брали её там, в тайге, дядьки. Но летом, в основном, и мы с Алей, а потом и с Лилей, тоже. Мальчики свободными были редко. Тогда и нам самим приходилось заново бить прорубь. Речки–то, они во второй половине зимы промерзают до дна почти! И, бывало, приходилось часами пешнёю пробивать полутора или даже двух метровый лёд, пока дядя Володя, став в котельной хозяином, не смастерил ручной бур. С ним операцию эту мы проделывали за десять–двадцать минут!

«Надо!». Слово такое «волшебное» произносил папа. И всё у нас делалось, как бы, само собой. «Надо!». И у коров наших, и у быка, воды было вдоволь. И у поросят. И у гусей. Живности у нас — сколько для семьи нужно. Не меньше и не больше. Если бы швондеры, интересовавшееся только «камушками», были умнее, мы — одна только Удерейская ссылка — завалили бы страну тысячами тонн продуктов, которых так не хватало постоянно голодавшему народу… Но об этом и мечтать нельзя было.

Губельманам не говядина нужна была, не свинина с гусятиной — человечина!

Но тогда думать о таких материях недосуг было. Скотину надо было кормить. Кормили. Да ещё как! И у неё во–время было доброе горячее пойло, затворяли которое на каменках, топить которые, затапливать даже — одно удовольствие.

…Читаю в русскоязычной прессе у нас драматические воспоминания переживших эвакуацию 1941 года местных красавиц. Страшные рассказы читаю о навалившихся на

занесенных на Урал и в Сибирь взрослых уже тёлок «бытовых проблемах». И верить не могу им, рождённым в городе у батарей центрального отопления. Тем из них тем более, кто «запамятовал», как мамы их молодые, или старенькие бабушки, вставали заполночь. И разжигали, и затапливали печи, чтобы, — когда все молодые выспятся всласть и встанут, — в доме было уже тепло. Не поверю им, пугающим читателя страшилками о том, что «зажечь огонь в остывшей за ночь печи, разжечь её — мука! Драма! Трагедия!». А ведь нужно–то всего с вечера заложить в тёплую топку дрова — подсушить. И к ним подложить лепесток бересты. А где бересты нет — в городе — жменьку щепочек тонюсеньких нарезать–настрогать и газетки клочок скомкать… Всего то…Забывать технологию эту — древнюю и спасительную — грех. «Боеголовки» в тысячах ракетных шахт ожидают своего часа. А «дежурные расчёты» — команды «ключ на старт!»

«Если ночь зажигает звёзды, значит…»

Растопку сухой держите, господа! Ту же бересту. Щепочки те же…

Береста! Ох уж эта прелесть!

Задираем её весной, перед соком. Великое это дело — берестяное лукошко, или короб, — невесомые и прочные, как из хорошо выделанной кожи воловьей. Такие же, как из юфти, непромокаемые, если правильно выкроить и сложить. Заводской посудою страна наша нас не баловала. И кроме ведерных чугунов ничего не завозила и не продавала. А если что–то и накопилось у нас из «заводской» посуды за ссылочные годы — всё дарёное! Геологи вольные, люди по тому времени состоятельные, или большое начальство — тоже не бедное — детей которых старенькая бабушка Марфа и мама учили языкам и людьми быть (есть такая наука!) — привозили из полярных долгих отпусков и дарили очень нам всем необходимую утварь Иногда, и чудо сервизы, сразу после войны саксонские даже. И из Богемии. Да так по сердечному, от души, преподносили, что не отказаться было. С приговором — и так даже бывало: — «Конечно, это не то, что у вас когда–то… Но хоть что–то…».

Слава Богу, мы с Беном, — тем же фарфором и стеклом, да многим ещё другим, на чём «свихнулся» совковый обыватель, — смогли впоследствии возвратить частицу тепла, которым — не смотря ни на что — незримо согревало нас и питало щедро сибирское наше «вольное окружение».

…А мы, девочки, «заведённые» никогда прежде невиданными нами дарёными «заморскими» чудесами, будто над землёю воспарялись! И играли, играли–экспериментировали. Искали и

находили подходящую глину. Добавки нужные. И лепили самоделки. Крутили дядей Володей сделанный для нас гончарный круг–станочек. Обжигали в топке папиной коптильни чашечки с кувшинчиками, плошечки с бокалами…. Получалась посуда… не хуже получалась она Гжельской! Ну… не очень хуже… Зато своя! Какую сами выдумали и сделали. Мы же ничего тогда не видели. Я только на семнадцатом году жизни поезд с паровозом живыми увидала! Самолёт вблизи живой — на двадцать седьмом! Я первый раз к яблоне подошла в Москве уже, в саду Сельскохозяйственной вставки. Бен поговорил с садоводом. И тот разрешил мне с о р в а т ь м о ё п е р в о е я б л о к о! Я Евой себя почувствовала из Священного Писания. Только не изгонявшейся — нет! А приглашаемой в Эдем!

А берестяная посуда — она всё равно лучше. Практичнее.

А какие борщи, щи какие варили мы в берестяных туесах!

Сказка!

…Было это в Русской Америке. Отдыхали там, — в канадском Западе на Тихом океане, — пару сезонов «индейского лета». Ходили в проливах на яхте сестры Бена. Ночевали на необитаемых островках, сплошь укрытых тайгой — как когда–то Ольхон на Байкале. На сказочных совершенно островах, будто с акварелей Билибина сошедших. Буяновых, или Додоновых, или самого Салтана. Но не в том дело.

Показали, однажды, — на биваке, — уже в Америке появившейся на свет и состарившейся там родне, Что Есть Настоящий Украинский Борщ! До того сварили они как–то в камбузе и угощали нас торжественно два обеда подряд собственным своим «борщом», тоже «украинским», — горячим… компотиком из всех — надо же — штатных ингредиентов борща… кроме сала… Но чересчур сладким! С… ванилином даже!

И тогда мы сварили наш борщ. Сварили раскалёнными в костерке морскими камешками. Галькой раскалённой! В чём, спросите? Да в туеске, тут же вырезанном и сложенном. В берестяной «пане» по–ихнему. Благо рощица берёзовая нашлась меж черно хвойного ельника. Даже дикий лук — черемшу — для заправки отыскали. И влажность с моря высоченная позволяла бересте сдираться, как маслом смазанной.

Пальчики американцы облизали! Мы — тоже.

Но ведь туес для варки — не всё. Продукты сухие в берестянках годами лежат–хранятся, не портятся. Топлёное масло и колбасы месяцами хранятся в берестяных коробах. С ними мужчины сезонами на охоте, опустошая их от домашней снеди и заполняя добытой дичиною, которую свежей всегда приносят домой.

Одно слово, название одно ласковое — т у е с о к!

Охотилась и я. Тоже тайно. Аркаша Тычкин подарил мне на 12–й день рождения малокалиберный автомат «М-18» новенький. Не всем мальчишкам дарят такое в 14 даже. Но мы, девочки, считается,… умнее, что ли. Надёжнее. И нам можно раньше. За автомат этот — обнаружь его власть — папе тюрьма. Семье — порушение, новая ссылка дальше на Север. Конец — вновь уже не подняться. Но Аркаша: «Обойдётся! Я в ответе!». А слово его — олово. Как–никак, тоже хозяин жизни. Добрый только. Ну и соблазн. Научилась стрелять сама. Выживать–то надо было! Подрастали младшие сёстры. И я за приданым им уходила в тайгу. По чернотропу — с собаками. По пороше — одна. Била белку. Соболя. Шкурки сдавала…

Жалко зверьков. Очень жалко. А разве не жаль телят и коров, которых растят «на мясо»? А поросят? Их разве не жаль? Они же, как дети растут, умницы! И, не хуже детей, играют с нами в наши игры. Чистоплотнее их никого нет! Да, неухоженная свинья ищет грязи — избавиться от паразитов, которых нерадивые хозяева ленятся счистить щеткой и смыть водой. Но она же, даже вылезши из лужи, не нагадит туда, где из кормушки ест. Где из плошки пьёт! Не то, что «человек».

Жалко их всех! Но сестёр жальче. Им расти. Жалко папу с нашими мужичками — им тяжело работать и тоже расти. Папа, Ленард, Володя, Александр — они как волы в упряжке тянут. И на морозе зимой по 18 часов! А «рацион» — папин если? Перед сменой — если утром — кружка чая с молоком и сахаром. Ломоть (толстый, правда) серого хлеба с маслом. С собой — в «тормозок» на смену — пол литра молока в бутылке за пазухою, чтобы не замёрзло в дороге, бутерброд со шматком сала (без сала на таких морозах нельзя!). Всё! На восемнадцать часов. А после смены, если вечером, — маленькая его фаянсовая мисочка щей или борща с обязательным кусочком мяса. Тот же чай с молоком — чай конечно не индийский или китайский (семейный называется) — он дорог для нас. Да и зачем? Чай наш из засушенных цветов. Собираем сами. И всё! Второе, какое–нибудь — нам, молодым. И женщинам. Не подумайте, что из «экономии», хотя было и такое в самом начале сибирской жизни. Просто организм у папы такой. И у братьев его. Ну, дедушка–то, Николенька — он и первое, он и второе, и третье он. И закусочка чтоб перед обедом… Закуску ему готовила сама. «С рюмкою перцовой, как когда–то на обедах у государя императора Александра Николаевича!». Он из другого теста. Рассказывал, какие застолья затевала родня, когда собиралась на пасху, к примеру. Лукулловы пиры закатывала старопомещичья кость!

А папа — он мужик! Рост — метр девяноста два. Фигура — будто скелет Лесгафта в питерском его институте, одетый мышцами! Когда, стариком уже, приезжал навестить нас — на Московских улицах женщины на него оглядывались. Так ведь и братья его такие же. Друзья шутили: «Ни тайге, ни бабам не устоять, когда в стране сибирской такие люди есть!».

Я тоже отставать от атлета–папы и дядек–богатырей не хотела. И охотою не только сёстрам на карманные расходы добывала, но вносила и свои, — совсем не малые, — деньги в кассу семьи.

Но время охоты — это ещё и праздник души. Её Величество Природа, вплотную окружив, по–настоящему полонит душу! Конечно, радовала она меня и поражала, когда занята я была в тайге сеном, лыком, дровами, водою. Когда собирала грибы. Когда брала ягоду. Или даже когда орехи добывала с дядьями. Хотя тут особо на красоты мира не отвлечёшься. Опасно. Лесиной, да и барцем шишкобойным — огромным деревянным молотом на длиннющей ручке, которым по кедру лупят сразу трое или четверо здоровых лесовика — можешь схлопотать.

И на охоте ты ещё сильнее чувствуешь, что сама — часть природы. Часть Леса. Что в лесу этом ты можешь, конечно, добыть зверька. Или даже зверя. Но ведь и зверь может тебя добыть! И ты с ним — на равных. И ещё. Именно из Леса вышел когда–то вот в таком вот борении — кто кого — и твой пращур. А уж это чувство — оно ох как сильно!

Тут снова перенестись бы к рассказам Бена

Что ж, могу и я рассказать нечто…

…Вот, Книга старинная в темно красном шеврете — кожа такая… По шелковистой коже накладным почерневшим серебром тончайшей работы высокие канва–вязь, застёжки клипсы, православный крест, строки полууставом: ПОМИНАЛЬНИК УСОПШИХ.

Книга запрятана на самое дно шкатулки–туеса в сундучке Нины.

Вместе с ПОМИНАЛЬНИКОМ в туесе главные девичьи ценности: школьный Аттестат; два моих письма из Ишимбы; гарантийный талон на ручные часики; Диплом Красноярской Высшей Фармацевтической школы; телеграммы моих родных со свадебными поздравлениями (письма не дошли пока). Ещё в сундучке перевязанная накрест толстенная пачка писем прошедшего века в конвертах со штемпелями почт громких европейских Вод. В виды видавшей большой плоской жестяной фирменной коробке из–под шоколада ЖОРЖ БОРМАН завёрнутые в тонкие берестяные фантики массивные обручальные кольца с

выгравированными датой «Октябрь 14 года 1872» и именами «Владимир и Екатерина». Кольца тоненькие, — без дат, с гравировкой немецкой, — «Nici & Amali». Отдельно печатка–перстень с камнем медового цвета — прозрачная, чудного рисунка гемма, шнурком подвязанная к опечатанном ею лопнувшему пакету–свёртку с сухим букетиком пепельных от времени роз–бутонов. Подо всем этим богатством аккуратно сложенные Ленты Орденов предков. Среди которых широченные, невиданного ныне муара, голубая — Святого Андрея Первозванного и красная — Святого Александра Невского. В самом сундучке бумажник, — в чёрной истёртой на сгибах шагрени, — герблённый кляссер с факсимильными сигналами первых русских марок и прочих знаков почтовой оплаты середины девятнадцатого века с вложенными меж ними пачечками визиток: «Граф Владимир Фёдорович Адлерберг 1–й», «Граф Александр Владимирович Адлерберг 2–й», «Граф Николай Владимирович Адлерберг 3–й». И, отдельно, — это уже дедушки Коленькины, — «Граф Николай Николаевич Адлерберг». Рядом, в именных больших конвертах вчетверо сложенные копии формулярных списков Владимира Фёдоровича, старшего сына его Александра Владимировича, второго сына Николая Владимировича, внука Николая Николаевича. И правнука Владимира Фёдоровича — Мартына Владимировича — прадеда Нины…

Ещё в сундучке грамоты наградные с портретами товарища Сталина на фоне кумачовых знамён и лозунга «Кадры решают всё!» — за успехи Нины в Кировской школе и за ударный труд её в больничной аптеке здесь, на прииске Центральном (Южно—Енисейске на картах)…

Сам прииск Центральный — за туманчиком тюлевых занавесочек — двумя песчаными строчками — улочками видится ясно на крутом берегу за Удерем рекой. Подобрался игрушечными отсюда, с больничной стороны, домиками к самому зелёному подножию величественного увала — горе Горелой. Горелая она только по старому прозванию: после незапамятных времён сплошного пала и верхового огня горы Кряжа перемогли. Ожили. И давным давно укрылись новой, медвежьей масти буро хвойной тайгою. И угревшись под нею, навалились на прииск. Придавили в чуткой дреме тысячевёрстной толщи острожной стеною горных лесов. Отсекли, стиснули неоглядной ширью ледяных Тунгусских потоков. И стерегли стужами и гнусом, оградили надёжно от людского мира. Отсюда немыслимо далёкого, не уяснимого вовсе. Не существующего совсем. Потому взаправдашним, истинным миром — Светом Белым — для родивших и выросших здесь был сам Прииск. Земля Обетованная.

Тяжким трудом каторги да ссылки, — МУСКУЛЬНЫМИ ОТВАЛАМИ (слово–то какое страшное!) да разрезами, — отнятое у Гор и у Тайги пространство Удерейской долины. По первости враждебное, не уютное. Ныне, после века лютой МУСКУЛЬНОЙ работы и голодного жития, с доброй картошкой на высоких навальных — по верх мерзлоты — огородах. С тучными — всё из за той же мерзлоты — поскотинами, — где надо в берёзовых нарядных слегах, да сытными клеверными покосами по именным ключам и площадям. С урожайными, по годам, фамильными кедрачами наследственных урочищ. С богатыми, — так же от года к году, — ягодниками по увальным солнопёкам да по старым палам и гарям…

Со школою…

Школа, конечно, для детишек приисковых воистину СВЕТ БОЖИЙ в окне; благо, Прости Господи, во все времена и эпохи столицы — что старая что новая — на именитых педагогов не скупились, избавлялись от них у себя, благодетельствуя ими глухие окраины России…

Но это мы знаем из Монолога.

С клубом…

О клубе бы рассказать отдельно. Лучше стихами. Да не о нём сейчас разговор… Только самодеятельность в нём была прежде «без дураков». О такой рассказать нынче на том же прииске — не поверят, обсмеют ещё… А клуб? Клуб по глухим приискам для тех, кто в войну да до неё — в годы первые поселенческие в холоде да в голоде вырастал, — до конца дней чудным видением детства остаётся, Храмом Божьим, что нелюдями порушены были даже в медвежьих урманах таких вот… Да, да, счастливым видениям детства! Которое, как ни старайся — нипочём ничто отнять не может…

С конторой приисковой, которая ЗАКОН и ВЛАСТЬ — самой Москвы (где она там?) выше, сильнее…

И с баньками семейными по над Удерем рекою, где дух терпкий стоит мяты яриловой лесной; да чебреца — с болот клюквяных серых — снадобья верного от половины болезней; да зверобоя — снадобья от другой половины хворей — травки дождевой: да смородинного чёрного настоя в красном огненном пару кипячённого, которому водица — стюдень зуболомных в прорубях — тьфу! Ничто, квасок сиротский. А ломоты костные да ревматизмы всякие вовсе…

* * *

К МОНОЛОГУ НИНЫ

Понимаю Нину с её «Всё!, всё!, всё!, всё!». Сочувствую ей. Но как интерпретатор повествования, тоже кое–чего повидавший, ставить в ее рассказе точку не могу. А её «подробности ни к чему» не принимаю напрочь!

… 17 февраля 1929 года осуществлять коллективизацию на западе Волыни ворвались в городок Кременец и колонию Пулин Первый и Второй Червоно–казачьи полки Первой конной дивизии Червоного казачества. Возглавляли их полковые командиры Владимир Иосифович Никулин и Радий Иванович Пересыпкин. О геройствах второго ничего не знаю. Первый, Никулин, дворянин и поэт, сын последнего одесского генерал–губернатора, был моим соседом по нарам 19–й камеры Бутырок в январе–апреле 1941. Вспомнить ему было что — ко времени ареста в 1937 он, уже командарм, был и командующим округами, и Высших кавалерийских курсов, когда там учились Жуков с Рокоссовским.

Встречались и беседовали и лет через двадцать, когда, отмотав червонец, доживал он, всеми покинутый, в квартирке своей 8/48 по Большой Бронной в Москве. В который раз вспоминали и о 1929 года «рейде».

Так вот, ночным налётом ворвались они в мирно спавшие немецкие и голландские (меннонитские) фермерские колонии и на ближние украинские хутора, беды не ожидавшие. И в «быстротечной войсковой операции» сокрушили–таки безоружных кормильцев. Вместе с прочими подразделениями дивизии под командой комкора Елагина и под политическим руководством армкомиссара Элькина /имен и отчеств в документах нет/ лавиною прошли они шляхами Правобережной Украины и развязали чудовищные бойню и голодомор. Но силу он набрал полугодием спустя. Свирепствовал чуть больше трёх лет. И унес никем не считанные миллионы украинцев. Да и неукраинцев тоже.

А возглавлял это вселенское побоище никакой не Каганович, никакой не Хрущёв, — хотя имена и этих палачей на слуху, и они руки свои, конечно же, приложили к уничтожению населения страны. Потому на них, на особо известных, «учёные» и посейчас вешают собак. Побоище тогда возглавлял — на месте, в Украине — бывший начальник политотдела названной дивизии, а в момент «войсковой операции» специнспектор армии Марк Борисович Новаковский, до того окровавивший среднеазиатские и среднеприволжские регионы карательными — против восставших рабочих и дехкан — «экспедициями».

От Никулина услышал тогда о нём и как о комиссаре честном и прямом. Кровавое дело своё делал, видимо, — я Никулину верю, — с сознанием «изначальной чистоты своих устремлений и искренней убеждённости в собственной своей правоте». Потому, через 12 лет, в ответ на вот ту самую «быстротечную операцию» против колониста немецкого немцы германские тоже, — и безусловно, осознавая изначальную чистоту собственных своих устремлений и, конечно же, искренне убеждённые в своей правоте, — провели операцию собственную, не менее быстротечную, но куда как более внушительную. Именуемую «в просторечьи» «22 июня 1941 года».

В результате — Десятилетняя освободительная война народа под руководством Степана Бандеры. В результате — знаменитый приказ Жукова—Берии от 22 июня 1944 года. В результате — «Беловежская пуща» декабря 1991–го. Времени ушло, конечно, немало. Крови пролилось — немеряно. Но результат–то — он впечатляет.

Только не нужно думать, что свобода Украины обязана новаковским.

Они — исполнители. Шестёрки второго или даже третьего эшелона. Украинская свобода в её «червоно–казачьем» исполнении обязана первоэшелонному слуге народа — Минею Израилевичу Губельману. В кодле — «Ем. Ярославскому». Это именно он возглавил «институт» социальных и национальных чисток в большевистской иерархии. Это именно он устанавливал квоты на уничтожение коренных классов, народов и «нештатных» народностей.

Ненависть его, — кто знает, возможно тоже праведная, изначально чистая и тоже искренняя, — не знала границ. На что Иосиф Виссарионович способный был до евреев, но и он одно время почтителен был к злобному этому хорьку, которому дай волю — всех прикончит!

Между прочим, сталинский пиетет к особо исполнительным шестёркам позволял им надеяться умереть в своих постелях: слабость была у него заставлять таких счастливчиков ежеминутно… годами ожидать казни…

… Я всё это к чему? А к тому, что именно Марк Борисович Новаковский, ожидая свою смерть, густо сеял смерть другим! И велел тогда убить будущего деда Нины Оттовны, Юлиуса Кринке, брата его Гуго, бабушку Элизу. Сколько сотен тысяч он убил? Но лишив жизни стариков–немцев, он, уже за двенадцать лет до «22 июня 1941», вызвал ответный вал возмездия, не заставивший долго себя ждать.

Со времени Немецкого Холокоста /или Шоа — эти понятия

нарочито запутаны интересантами/ - массового сожжения живыми колонистов–меннонитов и лютеран в 1919–1920 гг. на Украине по приказу Троцкого /см. «Густав и Катерина», Токио, Бунгей Сюндзю, 1991; и М. журн. МОСКВА,7/4, www.moskvam.ru/, убийства 1929–1933 годов на Волыни не менее впечатляющие. Позднее столь масштабные акции там не проводились.

Потому евреи Украины, — вообще евреи, поскольку несём коллективную вину, — мы все можем поблагодарить Марка Борисовича, и, конечно же, его крёстного отца Губельмана за случившееся с нашим народом в не таком уж далёком прошлом. И помнить, что «проклятия по адресу былых бед ни в коей мере не помогают предотвращать беды грядущие».

А ведь в значительном числе случаев мы, и только мы сами их авторы.

Но Нина? Она–то? Как она должна была мерзость эту воспринимать?

… Она не ощущала смены прежней, до депортации родителей, их абсолютной свободы на заменившую её абсолютную несвободу ссылки «навечно» даже в таком неповторимо прекрасном уголке края, каким была и, возможно, остаётся ещё нетронутая человеком, наша горная тайга… Признаюсь, под обаяние этого чуда попал и я, оказавшись с ней наедине…

Божественная красота голубых красноствольных мачтовых хвойных лесов, хрустальная прозрачность вод бесчисленных ключей, быстрых ручьёв, стремительных речек, текущих в смородинных зарослях облитых солнцем опушек, сверкающая синева небес, шум вершин под ветром, — вся эта Божественная и, казалось бы, вечная и непременная прелесть Первозданной Матери—Природы, всем своим добрым естеством приняла и любовно окутала девочку с самого начала её жизни. И этим добрым своим позывом не дала ей сразу почувствовать то, что неумолимо ждало её впереди. Смягчила удар осознания того, как ещё не начав расти и взрослеть, она уже была лишена всех предназначенных ей Создателем прав свободного существования. Однако же, лишенная свободы, самим фактом своего рождения от несвободных родителей, она, тем не менее, была как бы абсолютно свободной! Как дети крепостных рабов, ещё не понимающие, что они рабы…

Нужны были звериная лютость властей и боль. Боль не физическая. Но боль всесокрушающего осознания рабства. Ну, и время чтобы проснуться, однажды, вместе с вопросом: кто я? И, если Бог дал разум, спросить себя: что со мною произошло, — что они со мною сделали?

А такие вопросы — они чреваты адекватными ответами. Тем более, советчиков, на собственной своей шкуре испытавших что есть власть большевиков — пруд пруди! Наслушавшись их, — а они врать научены не были и говорили ей, что с ними на самом деле происходило и кто виноватый, — она поняла, что произошло и с нею. Не рассуждая понапрасну, она в кладку Небоскрёба Народной Ненависти вложила и собственный свой камень. Значимый, если вспомнить историю её семьи. И связи, которые ей дано было обрести. Вслед за осознанием своего места в рабской иерархии ощутила она и неуёмную муку родителей своих и даже стыд за то, что не могут досыта накормить детей и бабушку… Столько лет с хлебного своего поля кормили они не одну только огромную свою семью, но и 96 /!/ городских едоков;, и замахивались продовольствовать досыта лет эдак через пять–семь 145, — больше, чем в самой Америке. И… На тебе! Ссылка…

Каким–то образом Ниночка и эту «неразрешимую» загадку разгадала, да и осмыслила, затащив и Второй Камень в Ненависть свою к могильщикам её России. Но было нечто, потрясшее её сильнее всех издевательств: циркуляр о языках тогда ещё неизвестного ей, но уже известного всей России Минея Израилевича Губельмана /«Емельяна Ярославского»/ - главного идеолога ВКП.

Лёжа часто с больными лёгкими и, когда легче становилось — а легче, когда мама её приходила — прислушивалась она к тихим разговорам взрослых. Интересно было ей всё. Но читали они Губельмана ночами на языке, который она не понимала. Обидно было это ей непередаваемо! Ей же самой тоже надо всё знать. Она ещё помыслить не могла, что разговор в присутствии ребёнка, каким была она, да и дядек её на немецком языке может кончиться разоблачением — доносом, и, значит, арестом, разлукой, гибелью! Но уже знала, что такой язык есть. И что родители именно на нём шепчутся, чтобы не услышали. А их чутко слушали. И вот, незнакомый язык становился тоже знакомым. Как бы вторым из понятных. На самом же деле был он первым, потому как отцовым, но тщательно скрываемым от растущей девочки. А родной язык, если он был немецким, — а отец Нины, Отто Юлиусович, из немцев, чьи предки пришли в Россию ещё при царе Алексее Михайловиче, — язык этот по циркулярам; Губельмана–ненавистника; оказывается составом преступления и обвинительным заключением, одновременно. А носитель его — уголовным преступником! Такое сердцу её надо было ещё вынести!

Обстоятельство это, пополам с матом втолкованное однажды Ниночке оперуполномоченным НКВД, положило конец

«мелочному» собиранию девочкою компрометирующего материала на власть. Оно всё поставило на своё место: комиссаро–большевистская шайка, отобрав у «русских» немцев их родной язык, готовит уничтожение народа её отца. Так пусть сама она сгорит в праведном народном гневе!…

Пожалуй, всё, дорогой со–но–идасо Ивасаки–сан… Всё остальное — «мелочи»: запреты на передвижение, наказываемое 25–ю годами каторжных работ; запреты на учёбу выше 4–х классов сельской, неожиданно доброй, школы; запреты на письма даже в пределах района; запреты на хождение в гости; запреты на пользование библиотекой; запреты на какие–либо праздники; запреты даже на совершенно безобидное духовое оружие, что в тайге единственное средство добычи пищи! Правда, позднее, когда «вредительски» посрывались поставки беличье–собольей рухляди, запрет на духовушки сняли. И событие это пришлось как–раз на начало зимних каникул в 4–м классе. У Нины появился малокалиберный карабин. И она, впервые, счастливая, ушла в тайгу белковать — заработать деньги и помочь родителям… Приохотилась. И ходила десять лет — до нашей свадьбы.

Между тем, мама Ниночки внушала ей, что Закон Возмездия — извечная и непременная данность, никаких исключений и купюр не знающая. Потому и «неудобства» нашего пути сюда и быта здесь, что мы сегодня испытываем, надо воспринимать философски. Помня о Соломоновой притче с утопленным и с утопившим его. Не думаю, что твои прадеды и прапрадеды–россияне были более жестокими крепостниками, чем большевики. Но крепостниками, тем не менее, они были. И теперь, не только на основании Закона Возмездия, но и по канонам Священного Писания /если это — не одно и то же/ мы несём на себе их вину, не знаю уж, до какого колена… Ну и расплачиваемся, детка, и за неё. Всего–то! Необходимо смириться и постараться пережить наказание. Правду сказать, не такое уж и страшное, каким оно сначала представлялось. Тем более, в сравнении с тем, которое тоже закономерно обрушилось на наших с тобою, с папой, с дядьками и бабушкою с дедушкой Коленькой гонителей — комиссарствующих евреев и тех, кто пошел с ними.

Комиссары–евреи, — но не несчастный еврейский народ, — родная, уничтожали наших стариков и умерщвляли наших младенцев! Это ты запомни.

Она запомнила. И вот уж который десяток лет разделяет со мною еврейскую мою судьбу.

… В январе 1929 года не одни орды карателей «червоного казачества» ворвались и в колонию Старая Гута. С ними был

«актив». В ночь налёта и гибели старого Юлиуса Кринке, отрядом грабителей командовал районный партсекретарь Шломка Абрам / настоящие имя, отчество и фамилия — Самуил Шмулевич Абрамзон. — В. Д./. Между прочим, 70 лет спустя Тель—Авивские русскоязычные газеты нет–нет называли и мною помянутые имена наших активистов, казнённых в 1945 украинцами в тех же Ново—Гутинских лесах. А тогда дядю, отца и мать Отто убили его «знакомые» ещё по экзекуциям 1919 – 1920 годов безносый красноставский комиссар Берка Штилерман и Самуил Харбаш / настоящее имя, отчество и фамилия — Симха Соломонович Барбаш. — В. Д./.

Нужно сказать, что пожилой Симха Барбаш провожал угоняемых колонистов до самой железной дороги. И в пути помогал людям чем мог. Зато молодой Штиллерман на Украине ещё, а потом два с половиною года на этапе до Красноярска, и начальник конвоиров Абрамзон, и зам его истязали ссыльных. И даже интеллигентно выглядевший Самуил Шмулевич /в 30–е годы Бериславский секретарь, он через 8 лет будет, наконец, расстрелян/, он был непосредственным виновником каждодневных страданий ссылаемых и гибели их десятками, возможно сотнями по пути в Сибирь; он сам расстреливал их за всё: за «саботаж» и «контрреволюцию», за «неповиновение» и «мятежи», когда люди просили у него разрешения похоронить у пути умерших в вагонах… Расстреливал подло, из–за угла! И сам же похвалялся: «Гадство это стреляю «влёт»! Как гусей!» И ещё: «Мне этот вот р–р–революционный «Маузер» дан для истребления вас, контр–ры! И я буду вас истреблять!»

Дважды за многомесячный путь комендантами эшелона, — временно, по отсутствии в отпусках Абрамзона, — становились «чужие» — неважно, — татары ли, или тоже евреи, но люди. И был порядок: невесть чем, но исправно кормили, после солёной рыбы воду давали. Главное, если смерть в вагонах случалась ночами, позволяли, — по–быстрому, конечно, — хоронить покойников у пути. А этот — нивкакую: «Нету вам, гадам, места в нашей русской земле!». Но места находились. Для таких, как он, тоже.

Я тяжко переживал бесхитростные рассказы «одноэтапников» покойной русской графини, потомка великих российских родов. И тешил себя мыслью, что то всё было на Украине, где евреев полно. И вполне закономерно, что именно подонки из моего племени отирались в комиссарах–убийцах. Только не получалось тешиться, когда узнавал, тоже от не очень болтливых людей, что «не на одной еврейской Украине такое творилось…»

Когда предновогодней зимою 1952 ввязан я был в

сомнительнейшую операцию «по спасению от депортации и гибели» новосибирских евреев, случился у меня неожиданный разговор с человеком, на плечах которого был немалый по тому времени груз сокрытия от зверевших властей беглых японцев, немцев, да и наших, советских зэков. Я очень ждал его возвращения из командировки на Афинажное предприятие, куда он, фельдъегерь спецсвязи, отвозил золото. При встрече и после краткого доклада ему о ситуации, в которой оказались беспокойством добрейшего новосибирского раввина Слуцкого, — Аркаша Тычкин, один из самых близких сибирских моих друзей, бросил мне: «А тибе–то пошто в такея дела соватьси? Ты–то чего заметалси? Или у тибе другех забот мало?»

Пришлось ещё раз, но подробнее, объяснять Тычкину, что дело это серьёзно. Что уже, якобы, есть списки — для розыска и регистрации всех евреев, чтобы их всех… Понятно, Аркаша? Пока лишь одних евреев. И пока «якобы», а не как у вас в Забайкалье с твоими казаками, когда убиты были твои, Аркаша, деды и отец, когда в лагерях исчезли твои дядья. А сам ты, с мамою, братиками и сестричками, этапами загнан был мальчонкою сюда, в тайгу, на вечное поселение…

— Вспомни, Аркадий, с чего там начиналось? С вас, с вас, с казаков: власти начали с истребления единственной реальной силы в России, которая одна только могла активно, вытащив из схронов оружие, сопротивляться начавшемуся большевистскому террору. Силы организованной, чуть ли не военной… Именно, военной! Казачьей!

Вас сперва всех позарегистрировали, повставляли в списки, а потом позагнали в телячьи вагоны. И — сюда. Не одних вас, конечно, Забайкальских, но и с Войска Донского, с Кубани, с Терека — отовсюду. Но всё одно, брали как казаков! Вот как Гитлер брал евреев как евреев. А до него Троцкий. И уж потом, — после вас, — Рябой начал громить русского мужика. Теперь уж задушить его после того, что сделано было с вами, казаками, было совсем просто. Вслух говорилось: раз самих казаков взять сумели и кончить тепленькими, — само Казачье Войско России, — где уж лапотному крестьянину устоять?!… Так вот, Тычкин, браток. После вас все стало им просто: вслед вам взяли и вывезли всех китайцев и корейцев, что испокон веку трудились на Востоке да на Юге Сибири и в Приморье. Потом скотоводов из монгольских племён. Позднее — прибалтов. За ними — финнов из Карелии да из–под Ленинграда. За ними украинцы с поляками «двинулися» из Восточной Польши, молдаване да румыны. А там, с сентября 41–го, и немцы волжские, да с Украины, Крыма, Кавказа, Урала, из центральных русских городов, где три–четыре

столетия трудились на русское благо, да кровь лили за русское дело. И они, между прочим, на вас кивали, когда те же россияне обвинили их в… только что не в трусости, когда они безропотно пошли в эшелоны, в ссылку, на смерть… Мол, три миллиона вас, немцев! Начали бы в сорок первом, — вся Волга, вся Русь вслед полыхнула бы, и Украина бы тут же занялася!…

Ну, а позднее Крым пошел в ссылку, Северный Кавказ… За вами, Аркаша, за вами, дорогой!… Теперь за евреев взялись. Или не ясно?

— Ясней ясного, парень! Тольки ты сказать забыл, — эли, можеть, неизвестно тибе, — казаков наших те же евреи твое и загнали сюды. Ай не было так?

— Какие евреи?! Чего ты, дурило, городишь?!

— Может горожу. Одначе, не я дурило! Вот потому сомнение: надоть ли мине — выслатому, да с жидами связываться?… Ну нет моей охоты имям помогти, жидам. Нету! И всё. Оне у мине — как задумки твое с имями — во–о–о игде сидять!… Сейчас! Сейчас! Погоди!… Ты, конечно, почнёшь мое мозги пудрить Ефимом своем. И тобою. Не спорю: вы с имям — люди. Тибе я, брат, враз раскусил, что ты за человек. Ефим — штучка темнея: я дел его партейных по Ленинграду, до отсидки, не понимаю. Не жил при ём в Ленинграде, — пацаном в то время по урманам бегал — белку гонял. Знаю тольки: должностёв своех на воле, до того как сессь, он сам, и его други, не песнями под гармошку отрабатывали. Ай не так? Так, Винамин. По–другому у их не бываат. Я вот с имями, с партейными, путаюся пошти што с войны, когда она кончилася. Всего навидалси. И судю — кто оне, и за чего имям–то кормушка от власти… Ладно, Ефим твой своё получил. И яму, навроде, отпущение за всё, что сподличал прежде… Пуссь так…

Вот, ты, по первости, мине в мильцанеры определил: спецсвязь, и всё такоя… Не перечь! Не перечь!… Определил! Не дурень же я совсем! А того так и не понял, что на нонешнюю мою службу взели они мине аж с самого фронта не за красный глаз, а потому, что самим очень уж неохота, и страшно, под пули, ковда война закончилася, подставляться! И ишшо, конечно, знали оне, что я тута, при службе моей «весёлой», сам от сибе — не током что от их — никуда не денуся с сестрёнками, да с братишками–инвалидами… Куды мине от их — заложников моех убогих…

А что не люблю жи…, ну, евреев, — т-ты позволь! Как их любить–та, и за что? Я, ковда силу на службе своей набрал, в спецсвязи етой, в отпуск на родину задумал. В прежний свой рыйон, откуда они всех нас угнали. Дело то было давнее, почитай, годков с хвостом двадцать прошло…

Да. И пожелал я очень, — ну как хлеб с голоду, — узнать всё жа: как жа тавда всё получилося? Как, каким манером взели оне голыми руками всё наше Забайкальско Казачье воинство? Ну, и родителев моех, конечно. Меня, пацанчика, тожа… Прибыл в Забайкалье. При мундире. При звязде. При орденах. При бумагах. Так ведь и ихние бумаги цельными оказалися! И в области, в Благовещшенске и в рыйоне — в нашем, откудова мы. Сохранилися бумажки! Не побоялися каты их сохранить: видать, что для музея, как нас, казаков, с детишками вместе, оне снистожали героически и по–революционному… И как родная их советска власть строилася на той крови казацкой — глядите, добрыя люди!…

Так вот, Винамин, дружок, читал я те бумаги весь отпуск свой. Интересно было: ведь это и моя жизня из тех бумаг расстреливалася! И было любопытно очень: а какея такея герои дело это обделывали? Кто это самолично дедов моех, отца и дядьёв кончил за так, других дядек по тюрьмам да по зонам усадил, мине с братиками и сеетрёночками — малолетками сюды вот отправил, нас никого не спросив, на смерть? Из моех–то, что тавда маленькими сюды прибыли, половина здеся невдолге сгинула. В тайгах вот в энтих. До–орого нам советска власть обошлася. Никак не дешевше, чем вот тибе, парень… Мине Ефим твой об том рассказал. И ты потому, может, ближее мово брата родного. Но и ты того не вынес, что мое брательники… Извини… Не веришь — у Соседовых поспрошай, элиф у Гордых, у Зайцовых, эли вот, у Кеши Убиенных… У ссех спроси, кого сюды детишками загнали… У Адлербергов с Кринками спроси… У Нины…

…Не иначе, притираисси к ей? Сма–атри, парень, без баловства чтоб! Она такой человек — за её, обидишь, враз голову оторвуть!… Это я тибе не просто говорю — упреждаю !.. По дружбе…

Да, вот такая она — моя, и Соседовых, и Геллертов, и Кринке с Адлербергами — жизня. Иначе, как бы, интересно, стал бы я с тобою, дорогой дружок, хоть тех же немцев беглых, эли японцев, спасать и выручать? Сам подумай: ведь под топором ходим, паренёк! Не приведи Господь, засветимси эслиф… Да, не про то я…

Вот, прочитал бумаги. Все! Не постеснялси…Во усех фамилии проставленыя и имена. Тоже без стеснения. И получаетси так: что ни имя — всё не русское. Одне евреи. Латыши иногда. Но редко. Русских нет. Быдто повымерли тавда, элиф доверия имям не было — рылом не вышли? Как ето понимать? А? Посейчас имена ети в нутре гореть. И жгуть, падлы!

К примеру, был тавда начальникём ГубГПУ Розинблюм

Исак… отчество забывается, и трудное… И свяшшыки у яво одне евреи: Галкин Исаак, тоже Мосеич, и Познер… И его, как Галкина и Розинблюма, Исаком звали… А комендантом Читинского ГПУ был Глозман. Этот — Илья Ильич. Просто. И он, падло, гонял по губернии с Особой кавалерийской бригадой карателей. Был, ясно, и взвод комендантский, а по правде — рота. Так нет жа! Он людей самолично стрелял! И моех стариков он же сам всех и позастреливал, — я многех свидетелев отыскал, да он и в бумагах не постеснялси о том записать, — в протоколах. И отца моего он, Глозман, убил…

Ну, и прочих…

А ведь прежде, когда начальником был раймилиции, к отцу моему приходил. Беседовал. Чуть ни кажин день сало уносил, да мёд, да масло…

Начальником транспортной части был Басюлис. Навроде латыш. Тольки пошто и он — Исаак? Да ещё и Давыдович? Еврей, конечно. Каков тавда транспорт был — мне неизвестна. Но Басюлиса помню, как он нас, пацанов, по морде арапником сёк, ковда с верховым конвоем гнал народ пешим сто сорок верстов до станции. Гнал тоже самолично. И всё искал, кому морду рассечь… Так. Теперь будет этап. Был начальником эшелона Скляр. Еврей тоже: Макс Израилич. А гнали этап в разбитых «краснухах» спод скота. Зимою. В самыя морозы. До смерти этап тот не забуду, даже кавда дело моё фронтовое — десант на танках — забудется. Десант плохо уже помнится. А этап тот — не–е–ет! Вот, начальником эшелона был Скляр. Мало ему, что он, падло, людям ни есть, ни воды не давал. Кричал: — Голод в стране! Так не вам, собакам казацким, еду скармливать! — Кричали с вагонов: Мороз жа! А все раздетыя вами: одёжу да обутки вы жа поотымали! Отвечал, сука: — *** с вами со всеми! Быстрее подохнете!… Он, падла, кавда помирал кто в вагоне, — замерзал, или с голоду, — и конвой звали — вынести, он по тому вагону из маузера палил по краях, чтоб по тем попасть, кто уже с нар не встаёт, — по нас, по пацанах! Сколь же он, нехристь, народу тавда положил, стрелямши! И ведь и моех братиков — Павлика и Пантелея — он тавда сподранил и скалечил на век. До времени оне живыми жили. Да жизня иха была имям мукою, как чуток подросли — один без ноги, другой позвонками увечный… Инвалиды оба нерабочия… Как имям жить, эслиф бы ишшо и меня поломали? Дык я што, забыть об тем должон? Не человек я? Животная какая?!… Кабан — и тот не забываат!

Он помолчал. Пальцы его тряслись, просыпали табак мимо свёрнутой «козьей ножки»… Потом затянулся дымом, глаза прикрыв…

— Ты с Оттою поговори–ка. Пуссь расскажеть как пацаном оне с австрийцем пленным обозничали. И чего навидалися, кавда в девятнадцатым и в двадцатым годе по Украине ездили… Поспрашивай. Тибе тоё знать — лишним не будеть, еврею… Об евреех.

… Тогда, в ссылке, с «Оттою» не говорил. Говорил, когда уже внуки его любимые от меня выросли… Спросил об обозничании по Югу России. И о том, что тогда пережили, и что увидели собственными глазами Отто Юлиусович и однорукий Мартин Тринкман, решился я рассказать Миру лишь в конце семидесятых годов в повести «Густав и Катерина» в МОСКВЕ…. Осмелился с опозданием больше чем на полвека — через 55 лет после того, как с Высокого Амвона набатом грядущего Возмездия прогремел голос Мартина Тринкмана.

Где–то, — и не раз, — читал: «… Свидетельство епископа было чекою готовой взорваться «гранаты» ненависти к евреям. Он выдернул её. И она рванула!…». А до того — голос мамы прозвучал — тоже свидетеля — доктора Фани — на Общеевропейском сборище медиков в Нижнесаксонском Мюнстере…

… Я был только что не убит рассказом Тычкина. Я-то знал: это правда! Тычкины не врут! Не учёные врать. Какие бы ни были первопричины звериной жестокости моих соплеменников — они звери. Ошарашенный, я не готов был спорить с Аркашей. Прежде всего потому, что это был подвижник, человек, обладавший глубоко укоренившимся в его душе чувством активного сострадания к терпящим бедствие. Но этого мало, — он был по–умному бесстрашным человеком, который, не задумываясь, подставлял себя, спасая преследуемых людей. И если он не любит евреев, убивших его стариков, покалечивших братьев и загнавших его семью в омут ссылки — его право не только ненавидеть их, но и поступать с ними адекватно! Это жестоко? Но собственная наша жестокость — она известна. И вколачивалась она в нас Книгой, — нашим тысячелетия твердимым Учебником, обязательным и всенепременным еженедельным чтивом, научающим нас жить и поступать. На живых примерах. На примерах, например, подвигов Иисуса Навина: «И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к Еглону. И предал Яхве Лахис в руки Израиля… И взяли его в тот же день, и поразили его мечом, и всё дышущее, что находилось в нём…. И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону… И никого не оставил, кто уцелел бы» /Книга Иисуса Навина, X, 28–40/.

И пусть «…Последние исторические исследования свели до уровня фикции классические представления об исходе из Египта,

завоевании Ханаана, национальном единстве Израиля накануне изгнания, точных границах… /и похождениях Навина, добавил бы я. В. Д./…

Библейская историография даёт сведения не о том, о чём она рассказывает, а о тех, кто её составлял: теологах…» /Ф. Смит. Протестанты, Библия и Израиль после 1948 года. «Ля Леттр», ноябрь 1984 г., .№ 313, с.23/.

Пусть всё сказанное о зверствах Иисуса Навина лишь измысел шаманов. Но каков измысел–то! Вчитайтесь: «… В тот же день взял Иисус Макед и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и всё дышущее, что находилось в нём; никого не оставил, кто бы уцелел. И поступил с царем Македонским также, как поступил с царём Иерихонским.

И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны. И предал Господь и её в руки Израиля, и царя её, и истребил ее Иисус мечом и все дышущее, что находилось в ней; никого не оставил в ней, кто бы уцелел. И поступил с царём её так же, как поступил с царём Иерихонским.

Из Ливны пошел Иисус и все Израильтяне с ним к Лахису; и расположился против него станом, и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и всё дышущее, что было в нём, так, как поступил с Ливною…» /Книга Иисуса Навина, X, 28–40/…

Можно не продолжать — дальше всё то же, — всё та же лютая ненависть и звериная жестокость, Тысячелетиями вчитываясь в Книгу Навина, мы ожидали часа, когда сумеем повторить славные его подвиги. И вот дождались! Взгромоздились на «коней». И под улюлюканье охлоса, комиссарами возглавив более сорока карательных корпусов, до последнего новорожденного вырубили «дышущее» в станицах Дона, Хортицы, Кубани, Терека, Урала, Забайкалья и Приамурья, «расказачивая» в 1919 – 1934 годах изнасилованную Россию /в промежутке лет вырезая, никого не оставляя в живых, ещё и бесчисленные аулы среднеазиатского «Подбрюшья былой империи»/.

Фамилий и имён командующих «особыми кавалерийскими формированиями» называть нет нужды: все они вписаны в энциклопедии, а по окончании еврейско–кавказской войны — в расстрельные списки. Все до единого — они получили по заслугам, успев зажечь лютую ненависть к ни в чём неповинному народу, к которому рождением принадлежали. К народу, что теперь, последним десятилетием XX века, по милости собственных подонков, потерял родину и в эмигрантстве покоя не обрёл. Вчитайтесь в нижеприведенные строки письма:

— «Наступает их /наш, наш! — В. Д./ последний час. Но не

только тех, кто будет схвачен на нашей земле, но кто успел, или успеет сбежать. Мы их достанем всюду: нам их выдадут, не пытаясь стать объектом нашего гнева и мишенью нашей мощи…»

«Чего мы добились? Чем окончилось очередное, Бог весть какое по счёту, наше «начинание»? Что кто получил в результате нашего неуёмства?».

Всё это тогда не интересовало меня. А муки мои были из–за того, что не знал, что ответить Аркаше Тычкину, благодетелю моему, моему спасителю, Святому Человеку… Да, нас, евреев, сломавших его судьбу, он ненавидел. Но разве ж сами себя любили мы по–настоящему, люто ненавидя всех остальных разве что ради… дешевой блажи собственной своей' «особости». А вот мать Нины Мелитта Мартыновна, — русская графиня, — «особой» себя никогда не считала и была уверена: прощать нужно именно «всем остальным» — внеочерёдно! Но… не тем, кто у кого–либо отнял душу — язык.

— Я христианка, — говорит Нине, — простила казнённым палачам их зверства. Но ни в коем случае не отобрания у твоего отца, — потому и у тебя, потому и у твоих детей, — вашего родного немецкого языка! Ведь язык — не просто средство общения, что само по себе тоже очень важно. Он — непременная связь человека с его прошлым, с прошлым предков, с прошлым — с историей — его родного народа! И. нет преступления страшнее, чем порушение этой священной связи!

А они — эти… набежавшие к нам… Не подыщу названия им, чтобы не оскорблять языка… Они разорвали эту святую связь. Нет им прощения! Нет! Нет! Не–ет!… Кара им за то будет ужасной!…

… Она плакала, каждый раз вспоминая о тех, кто заставил её, наследницу великих российских родов… плакать…

… Рано, очень рано узнала Нина, что «разорвавшие связь» собственным своим отпрыскам слушать ЕЁ немецкий язык не запрещали. Наоборот, заставляли его учить и даже пытались приказывать маме натаскивать их языку, чтобы его, в специально организуемых зарубежных поездках, оттачивать и совершенствовать; они созывали международные семинары на немецком языке и открывали библиотеки иностранной литературы, и Миней Израилевич Губельман приглашал профессуру германских университетов, чтоб его наследники могли присвоить себе отнятый у немцев России родной их язык! Сам же «российский» немец пользоваться этими институциями, чтобы стать настоящим немцем, права не имел. Все «мероприятия» такого рода были для него закрыты. Закрыты под страхом тюрьмы и обвинений в… буржуазном национализме. Национальная Катастрофа «русских немцев» произошла много

раньше 1941 года /когда их, всех до единого, депортировали на Север и Восток/.

Чтобы старику не показалось, что мать Нины, Мелитта Мартыновна, по вполне понятным причинам, драматизировала события с потерей этническими немцами их родного языка, — и, чтобы, не приведи Господь, вместе с нею в предвзятости он не заподозрил меня, грешного, — я позволил себе рассказать о существе неординарных мытарств Владимира Яковлевича Мартенса, моего давнишнего друга.

Режиссёр Малого Театра и руководитель его студии в Москве, меннонит по происхождению, он — из тех Мартенсов, что с незапамятных времён — задолго до царствования Алексея Михайловича «Тишайшего», Петрова отца, — творили «на пустом месте» первые и все последующие металлургические технологии Урала. Из Мартенсов, одаривших Россию созвездием учёных — первопроходцев в других областях знаний.

Носитель «немецкой» фамилии, вместе с мамой и он выслан был в 1941 году в отдалённые земли Казахстана. Человек высочайшей культуры и неимоверного душевного здоровья, он победил обстоятельства и, однажды, стал режиссёром Новосибирского Драматического театра. Видимо, именно по означенным причинам Перст Судьбы упёрся в него, когда руководители социалистической единой партии Германии вдруг, вспомнили о судьбе своих… «русских» немцев, прозябавших в ничтожестве и не охваченных общим порывом «дружбы народов». Даже вроде бы совершенно ручные немцы из ГДР морщились, наблюдая бацающих «свои» новоказахские танцы бывших носителей великой культуры… Германской, если будет позволено…

Владимир Яковлевич препровождён был в Центральный Комитет не его партии, где его ознакомили с решением срочно организовать в Алма—Ате… Немецкий Драматический театр и принять на себя груз режиссирования!…

— «Ищите, и обрящете!» — напутствовали его в ЦК. — «Удачи вам!»

Два с половиною года Мартенс искал «удачу». Актёры из немцев как в воду канули. Единицы, как Сергей Александрович Мартинсон, выжили. Остальные все исчезли в гноищах Казахстанской ссылки. Те же, кто каким–то чудом уцелели, о сцене не помышляли в страхе перед новыми репрессиями. Кто–то, исхитрясь, сменил запись «немец» в бумажках на «русский», «украинец», «эстонец», «цыган», — на худой конец. И еще Бог знает на что.

Тёртые–перетёртые, они не сомневались: собирают их в

немецкий театр с тем, чтобы сподручнее было всех разом брать. «Как в Израиле, куда вот уже больше двадцати лет заново собирают народ /Дело было в 1971 году/, чтобы, когда съедутся, всех снова оцепить и кончить в ихних пустынях!» Приходилось искать актёров среди «проживавших компактно» в самом Казахстане. Владимир Яковлевич облетал, объездил, обходил, почитай, все места, где жили немцы. Беседовал со многими тысячами их. Расспрашивал, экзаменовал, пытал… И, человек порядочный, исполнительный и не по–современному честный, вынужден был признать страшную для него истину: о¬громная, — более двух миллионов, — масса этнических немцев в результате преступных действий комиссаро–большевистской банды мародёров и насильников полностью утеряла свою национальную культуру. Немецкую, с позволения читателя. Правда, все эти обобранные режимом люди утеряли и русскую культуру; и это необходимо вчинить Губельману, готовившему геноцид. Но, в то же время, «русские» немцы сумели сохранить величайшее трудолюбие, и, что нам теперь особенно важно — непоколебимую целеустремлённость, умение до конца доводить начатое дело и цепкую, бездонную память. Последнее позволило им навечно запечатлеть своих обирателей и палачей, которые, быть может, только сейчас, в свете происходящих в мире событий и «неожиданно» раскрывающихся приоритетов, начали догадываться, что натворили.

«Русские» немцы выходят из небытия. С чем же? Они выходят, после советской системы бесконечных притеснений и издевательств, после вот уже двадцатилетнего игнорирования «новой Россией» их чаяний и надежд несоблюдением даже собственных принятых законов и решений об их реабилитации, — с обостренной до изнеможения востребованностью восстановления справедливости.

Востребованностью, заставляющей одних — уже 70 лет! — мужественно, — и в интересах России! — добиваться этой реабилитации. И подводящей иных, от отчаяния и безнадеги выехавших на историческую родину, как в России «русских экстремистов», к стремлению осмыслить уже из сегодняшнего опыта деяния так этнически окрашенной послеоктябрьской национальной политики «советской власти», и даже идеологию так конкретно–антинационально окрашенного «национал–социализма».

С чем нас и поздравляем!..